МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ТГПУ)

ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный журнал
Издается с 2013 года

ВЫПУСК 1 (11) 2016

ТОМСК
2016

Главный редактор:

А. Ю. Фильченко, Ph. D. Linguistics

Редакционная коллегия:

О. С. Потанина, кандидат филологических наук, доцент НИ ТПУ
(и. о. зам. главного редактора);
С. С. Аванесов, доктор философских наук, профессор ТГПУ;
А. В. Бауло, доктор исторических наук, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск);
Б. Вагнер-Надь, Dr. habil.,
профессор Института финно-угроведения/уралистики, университет г. Гамбурга (Германия);
Э. Вайда, Ph. D. Linguistics, профессор Западно-Вашингтонского университета (США);
Ф. Сигл, Ph. D. Linguistics, Университет Хельсинки (Финляндия);
А. А. Ким-Малони, доктор филологических наук, профессор ТГПУ;
Е. Г. Которова, доктор филологических наук, профессор Зеленогурского университета (Польша);
Е. А. Крюкова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ;
Н. В. Лукина, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;
З. Надь, доктор антропологии, профессор университета г. Печ (Венгрия);
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;
В. А. Плунгян, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор ИЯ РАН (Москва);
Н. В. Полякова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ;
Н. А. Тучкова, кандидат исторических наук, доцент ТГПУ;
Л. И. Шерстова, доктор исторических наук, профессор НИ ТГУ;
Ф. Эбата, Ph. D. Linguistics, Университет Ниигаты (Япония).

Научный редактор выпуска:

А. Ю. Фильченко

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел. (3822) 52-17-58.

Адрес редакции:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Тел. (3822) 52-17-94, факс (3822) 44-68-26.
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-52641 от 25.01.2013 г.

Подписано в печать: 30.03.2016 г. Сдано в печать: 01.04.2016 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 13,5. Тираж: 1 000 экз. Цена свободная. Заказ: 930/н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. И. Ежова, В. К. Савин.
Дизайн обложки: А. С. Печенкин. Корректор: А. И. Киселев.

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2016. Все права защищены.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY

Published since 2013

ISSUE 1 (11) 2016

TOMSK
2016

Editor in Chief:

Yu. Filchenko, Ph. D. Linguistics

Editorial Board:

O. S. Potanina, Kandidat Nauk, Philology, associate professor,
National Research Tomsk Polytechnic University (acting Deputy Editor in Chief);
S. S. Avanesov, Doctor of Philosophy, professor, Tomsk State Pedagogical University;
A. V. Baulo, Doctor of History, Institute of Archeology and Ethnography,
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk);
Fujuki Ebata, Niigata University (Japan);
A. A. Kim-Maloney, Doctor of Philology, professor, Tomsk State Pedagogical University;
E. G. Kotorova, Doctor of Philology, professor, University of Zielona Góra (Poland);
E. A. Kryukova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;
N. V. Lukina, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
Zoltán Nagy, Doctor of Anthropology, professor, University of Pecs (Hungary);
L. M. Pletneva, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
V. A. Plungian, Doctor of Philology, professor, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow);
Florian Siegl, Ph. D. Linguistics, University of Helsinki (Finland);
Edward J. Vajda, Ph. D. Linguistics, professor, Western-Washignton University (USA);
Beáta Wagner-Nagy, Dr. habil., Linguistics, professor, University of Hamburg (Germany);
N. V. Poljakova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;
N. A. Tuchkova, Kandidat Nauk, History, associate professor, Tomsk State Pedagogical University
L. I. Sherstova, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University.

Scientific Editor of the Issue:

Yu. Filchenko.

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-17-58
Address for Correspondence:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
Tel. +7 (3822) 52-17-94, fax +7 (3822) 44-68-26.
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-12-93

Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-52641, issued on 25.01.2013.

Approved for printing on: 30.03.2016. Submitted for printing: 01.04.2016. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1 000. Price: not settled. Order: 930/н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designers: O. I. Ezhova, V. K. Savin.
Cover designer: A. S. Pechenkin. Proofreading: A .I. Kiselev.

© Tomsk State Pedagogical University, 2016. All rights reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 7

ЛИНГВИСТИКА

Александров О. А., Александрова А. А. Языковая биография немцев Сибири 9

Карпина Е. В. К вопросу о вариативности испанского языка на территории мексиканского полуострова Юкатан 19

Кобенко Ю. В. Экстралингвистический детерминизм природы псевдозаимствования 29

Чертыкова М. Д. Средства выражения субъекта в предложениях с глаголами психической деятельности в хакасском языке 36

Каксин А. Д. О табу и подставных названиях в хантыйском и хакасском языках 45

АНТРОПОЛОГИЯ

Бурнаков В. А. Алтын ТӦС – ‘Золотой фетиш’ в мифе и обрядности хакасов (конец XX – вторая половина XX в.) 53

Шерстова Л. И. В поисках себя: «новые» идентичности современных тюркоязычных народов Сибири 62

Рудковский И. В. Об ареалах распространения некоторых фигур андроновской орнаментики 74

Арбачакова Л. Н. Богатырская душа и сила в шорских героических сказаниях 86

Мухаметдинов В. И., Бахшиев И. И. Технологический анализ керамики курганного могильника «ЮЛАЛЫ-8» в Зауральской Башкирии (материалы Кургана 3) 94

НАШИ АВТОРЫ 105

AUTHORS 106

CONTENTS

From the Editors 7

LINGUISTICS

Alexandrov O. A., Alexandrova A. A. The Language Biography of Siberian Germans 9

Karpina E. V. To the Question of Variability of Spanish in the Territory of the Mexican Peninsula Yucatan 19

Kobenko Y. V. The Extralinguistic Determinism of the Nature of Pseudoborrowing 29

Chertykova M. D. Means of Expression of the Subject in Clauses with Verbs of Mental Activity in the Khakass Language 36

Kaksin A. D. About a Taboo and False Names in the Khanty and Khakass Languages 45

ANTHROPOLOGY

Burnakov V. A. Altyn TöS – 'Gold Fetish' in the Myth and Rituals of Khakases (End of XIX – Mid XX Century) 53

Sherstova L. I. In Search of Yourself: "New" Identities of Modern Turkic Language Peoples of Siberia 62

Rudkovsky I.V. About the Areals of Distribution of Some Figures of Andronovo Ornamentation 74

Arbachakova L. N. Warrior Soul and Power in Shor Heroics Epics 86

Mukhametdinov V. I., Bakhshiev I. I. Technical-Technological Analysis of Ceramics from the «JULALY-8» Kurgan [Barrow] Burial Site in the Bashkir Trans-Ural 94

AUTHORS (In Russian) 105

AUTHORS (In English) 106

Лингвистика без антропологии стерильна,
антропология без лингвистики слепа.
Hockett Ch. Man's place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

От редакции

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза в год.

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований Сибири):

– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а также физическую антропологию и этногенетику).

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев:

– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана в соответствии с нормами иностранного языка.

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий рецензентов.

К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обратить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать».
Индекс 82719

Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.
Hockett Ch. Man's place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

From the Editors

'Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology' was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical University. Three-four issues are released annually.

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:

– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
– typological research of languages of Russia and worldwide;
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical anthropology and ethnogenetics).

The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:

– relevance of the submission's content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up not less than one third of the submission);
– submission must reflect author's knowledge of research state-of-the-art in the area;
– adherence to citation rules;
– correspondence of the submission to academic writing conventions;
– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere to the respective language grammar and style conventions.

The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction with due considerations.

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation specialist). In case of submission's persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves the right to decline the publication without further explanations.

ЛИНГВИСТИКА

Alexandrov O. A., Alexandrova A. A.

THE LANGUAGE BIOGRAPHY OF SIBERIAN GERMANS

The article includes some research results of the metalanguage reflection of German dialects of speakers living in Tomsk region, one of the Siberian regions of the Russian Federation.

Research materials were collected through the implementation of field expeditions in rural settlements of Tomsk region, where a significant proportion of the population are Germans. The statements about the language of the informants are analyzed in this article; modeling of their experienced history of the usage of languages is carried out. The model, based on the analysis of the "subjective data", provides a concept of relevant and irrelevant linguistic phenomena for the perception of bilingual German respondents, which allows following up the development of their language loyalty and language associations diachronically.

Key words: *German dialects in Siberia, Russian Germans, language attitude, language biography*.

1. Introduction

Today there is a great linguistic interest in the everyday perception of language. The questions "What does a layman think about language?" and "How does he verbalize it?" are raised by modern scientists to look at familiar objects of scientific description with a new perspective and extend and complete the achievements of traditional linguistics (Anders, 2010: 22–23).

The research area for these questions is referred to as naive linguistics. To study a metalanguage concept of naive speakers, methods of questioning, associative experiments, draw-a-map, matched-guise method and other methods of collecting and analyzing field data, known in modern linguistics as the quantitative ones, are used. For example, such methods are extensively used in German projects "The German language space from the perspective of a linguistic layman" (Kiel University), "Exploration and analysis of the current German language" (Institute of the German Language, Mannheim).

The representatives of naive linguistics study ordinary concepts of the language with the use of methods that are based on statistical data processing; the phrase "language attitudes" is the central term.

At the same time, more and more experts point out the necessity to study everyday language understanding by qualitative methods. Taking into account their opinion, the usage of this methodological approach for problem solving of naive linguistics meets the ideas of methodological pluralism (Deminger, 2004: 29) and gives more freedom to the explication of individual perspectives of informants (König, 2014: 16). As known, qualitative methods focus on the interpretation of contexts and their usage allows joining research project achievements of narrative linguistics, text linguistics and pragmatics. Works with everyday language knowledge are described with the use of qualitative methods and the term "language biography" is widely known (Franceschini, 2004; Treichel, 2004; König, 2014).

There is no common meaning of this term in modern scientific discourse, and no definition in specialized dictionaries or lexicon. According to a German scientist D. Tophinke, this term is multilayered and generally used to show the fact that people are in the evolution towards the language (Tophinke, 2002: 1). On the one hand, language biography is an **individual story** of language learning and usage, experienced by humans. Thus, a human's life can be seen through the interaction with the language/languages. On the other hand, language biography is also **cognitive reconstruction** of experienced events relating to the language/languages. We speak about human's memories and cognitive images of the language phenomena. As scientists do not have a direct access to a man's mental

sphere, language verbalized judgments of naive speakers are used as material of language biographical studies. They may take a form of short statements and extended texts.

In naive linguistics, numerous works are devoted to the peculiarities of the language perception of dialect speakers. Interest for dialects may be explained by the fact that there is the so-called "ideal" concentrate of everyday knowledge of the world, including its languages. At the same time, dialect speakers can speak the literary form of the national language besides their own local dialect, and often (for example, if we speak about dialect "islands") the languages of the neighboring language communities. In other words, they are of interest to bi- or polylingual scientists who are able to compare different languages through the spectacle of people's knowledge and perception. Moreover, dialects, in general, are disappearing forms of the languages and studies, especially involving new approaches and methods, making invaluable contribution to the preservation of linguistic and cultural diversity of the world. Language attitudes research of dialect speakers with the usage of quantitative methods (after the authors' works) belong to the so-called *perceptual dialectology* (Preston, 2010) or *layman dialectology* (Eichinger, 2012: 11).

A common name for scientific projects, consisting of qualitative research of everyday interpretation of dialects, is not found in the professional literature. This is apparently because of the lack of understanding of the term "language biography", lack of worked out strategies for the studies of this phenomenon and a small number of works devoted to language biographies of dialect speakers.

2. Methods and Characteristics of Samples

The article shows some research results, wherein language biography modeling of the elderly age group of German dialect speakers living in Tomsk region of the Russian Federation, is carried out. **The recreated language biography is a model that combines events and developments of relevance to the language that has been experienced by the informants during their lives.** Model subjectiveness is reached by the entirely subjective language data analysis – statements of informants about the language. In other words, the constructed language biography includes only those linguistic phenomena that informants mention. The goal of research is to find out what phenomena of the mother tongue and other languages informants speak or contact during their lives are the most striking and memorable for them. A diachronic perspective of the research, which covers the time period from childhood of dialect speakers (1930s) up to the moment of the interview (2006–2009) allowing insight into how the language/languages perception of informants was changing, and shows the transformation of their language associations over time.

Tomsk region belongs to Russian regions with a significant concentration/share of the ethnic Germans (see Map 1). The Germans were in Tomsk region because of ASSR liquidation of Volga Germans (The Volga Republic) at the order of Joseph Stalin at the beginning of the Great Patriotic War (1941) and the deportation of its population to Western Siberia and Central Asia. One of the regions of Western Siberia, where habitants of the Volga Republic were resettled by force, was Tomsk region. So, from 1945 to 1953 in the northern areas of Tomsk region about 17 000 special settlers arrived. The repressive actions by the Soviet leadership during the years of the War are the most dramatic pages in the history of Russian Germans. The process of violent uprooting, harsh living conditions in the new settlements and mobilization of able-bodied special settlers into the labor army resulted in mass casualties. After the elimination of labor armies at the end of the War and partial rehabilitation of Soviet Germans (1955) who had been sent to Tomsk region, the Germans for the most part did not leave the territory and continued to live and work at factories, collective and state farms (kolkhoz, sovkhoz) on an equal basis with the Russian-speaking population. After the USSR breakup and border openings, a large proportion of Tomsk Germans emigrated to Germany. Despite the active emigration processes in the 90s, nowadays in Tomsk region, the Germans are the fourth most populous (after the Russians, the Tatars and the Ukrainians). Approximately, 8 687 Germans live in Tomsk region according to the 2010 population census.

There are not many dialect speakers now among Tomsk Germans. A greater number of Tomsk Germans have assimilated and they use the Russian language in all spheres of communication (including family) as a means of communication. Mostly the elder generation speaks the German dialect. Tomsk Germans' dialects are mixed, i. e. they contain phonetic and morphological characteristics of different "parent" dialects of modern Germany. A special analysis shows that in oral forms of the German language common in Tomsk region, signs of West Middle German dialects of modern Germany dominate (see more about German dialects in Tomsk region in (Alexandrov and Bogoslovskaja, 2009)).



Map 1. Tomsk region on the map of the Russian Federation[1]

Language material of the research is a corpus of informants statements about language phenomena, which was collected by the authors of the article through field expeditions from 2006 to 2009 in a number of settlements of Tomsk region with a high German population (Alexandrovskoye, Kargasok, Parabel, Kozhevnikovo) (see Map 2). The main method of field data collection was an interview, which can be characterized as "partly structured" (Burdick, 2008: 12). This means that the interviewer used for language data prepared a questionnaire in advance. Its purpose was to motivate the informant to the metalanguage reflection. At the same time communication between the informant and scientists regularly deviated from the planned scenario and flew into informal conversation (little-structured interview), the subject was defined by the dialect speaker. The topics of these conversations were predominantly autobiographical, but the main genre of the texts are memories. Thus, field work material in Tomsk region via the partly-structured interview is similar to the narrative interview, widely used in the works of researchers of language biographies (Franceschini, 2004; Treichel, 2004; König 2014); respondent dialect speakers acted as narrators. Autobiographical details were entwined with statements about the language and language phenomena in their narratives. As respondents are bilingual, i. e. they speak the German dialect and the Russian language at home, the analyzed text corpus includes metalanguage comments in dialect and the Russian language. In some parts of collected statements, alternately the Russian and German languages are used, because the speech of informants is characterized by the phenomenon of "code switching". The vast majority of collected texts is non-deployed statements, consisting of one, two or three sentences.

The Germans of the elderly age group are informants of the given research. At the time of field expeditions, the average age was from 75 to 85. In the whole, 63 informants were interviewed.

[1] The map is taken from the website of the Legislative Duma of Tomsk Oblast (http://eng.duma.tomsk.ru/page/192/).



Map 2. Tomsk region

The respondents were born in different villages and towns of the former Autonomous Republic of Volga Germans. In childhood or adulthood they were deported to Tomsk region with their parents. They were there during the War and stayed to live and work in that region of Siberia after the War. They did not leave Tomsk region after the opening of borders of the USSR in the 90s. Taking into account those life periods of interviewed informants in the research, the following periods of the language biography are defined as "Childhood in Volga region", "The War and post-war years", "1955 – the end of the 90s", "Modern period (from the early 2000s)".

In linguistics modeling, language biography of Russian Germans is the first research of the experienced history of learning and using of languages by the German dialect speakers residing in the territory of the Russian Federation.

Primarily such projects were not realized on the material, majority languages or other small languages spoken in Russia. The results of the proposed research have already been partially described in several publications (Alexandrov, 2011; Alexandrov, 2012).

In this paper, for the first time, the results of the project are presented in conjunction with the theoretical and generalized components of scientific research, namely: the scientific problem is described; the approaches of modern foreign "naïve" linguistics are summarized; the characteristics of language data sources and methods of data collection are given; analysis of linguistic material is carried out; and the created metalanguage model is schematically represented. The research results are presented in English.

Within the framework of this article, language biography modeling of Tomsk Germans during the period, "The War and post-war years" is realized. deportation of the Germans from Volga region is carried out between 1941 and 1955.

Results and Discussion

Deportation, as known, has radically changed the language situation of the studied ethnic groups: those Germans who resettled in Siberia were under the intense influence of the Russian language. For example, N. Berend connects the beginning of instability phase and discontinuity in the language situation of Russian Germans with the deportation, which continues until now from her point of view (Berend, 1998: 18). In this regard, in collected interviews, which illustrate the forced resettlement, and in War statements about language barrier situations, language conflict and initial experience of the Russian language acquisition are expected. However, in the narration relating to this period of the language biography, not many statements about the language are fixed. The lack of metalanguage comments in the narratives, which thematically affect the period of life stories of the interviewed Germans "objectively" relevant to the language, can be explained by different reasons. On the one hand, a host of tragic experiences of respondents related to the years of Stalinist repression and the War, which displace the memories and impressions of the language nature. Thus, a German linguist K. Brake, who analyzes the memories texts of Russian Germans in his work, called deportation "closed area", i. e., the events of this autobiographical area are difficult for theming through narrative interviews (Brake, 1998: 436–443). Expeditions in Tomsk region have shown that autobiographical stories illustrating this period are extremely difficult for the practice of field data collection and analysis: informants often avoid this topic or narration about it in the interviews, as they are overfilled by personal emotions. On the other hand, the Germans of the studied age group, came to Siberia in childhood; i. e. at the optimal age for natural or unfocused language acquisition[2]. Probably, the acquisition of the Russian language is not associated with serious challenges and, therefore, is not described in collected interviews as unique autobiographical experience. In favor of this hypothesis is the fact that comments about the problem of the language barrier are fixed in relation, not to the respondents, but to their parents; i. e. representatives of the elder generation (Example 1). Moreover, illustrations of unfocused language acquisition, which was carried out by means of communication of the Germans with Russian-speaking children when they played in the street and at school, are found in the collected texts (Example 2).

(1) *Die Mom hot arch schlecht Ružich gspouche. Die konnte mit ružich Lait tes Ružich net spreche*[3].

Engl.: *My mother spoke Russian very badly. She could not talk to Russian people in Russian.*

(2) *Mir zint alle drause rumgesprunge und hene gespielt. Die hene die ružich gesunge und ich hun mitgsunge. Ich hun net verstanne, aber ich hun mitgesprouche und hun ach schlechte Werter gelernt.*

Engl.: *And we all ran together in the street [Russian and German children], we were playing. They sung some couplets and I repeated after them. I did not understand, but I repeated, and even learned some bad words [laughs]*.

Within this framework, it is necessary to mention the experience of the research of language biographies of Wales bilinguals, who are native Welsh and non-native English speakers. A German scientist B. Treichel concluded that such processes implemented in childhood and adulthood of informants as changing cultural identity (change of the traditional Welsh lifestyle into English) and the accompanying process of linguistic identity transformation (change of the dominant position of the

[2] According to R. Franceschini at unfocused language acquisition we are talking about the formation of such a competence of the non-native language, which is carried out spontaneously and unconsciously in the context of everyday practical interaction with it (Franceschini, Miecznikowski, 2004: 133].

[3] For registration utterances of informants in the article, no special transcription is used. The given texts are registered in accordance with the rules of letter-sound relation in standard German. The exception is sound ž (missing in standard German). For example, a dialectal word "Ružich" which corresponds to the word "Russisch" in standard German (eng. = Russian). Separate words or even blocks of text, spoken by informants in Russian, marked in the Cyrillic alphabet in accordance with the rules of the Russian language. After each utterance in the dialect there is a translation into English. In square brackets there is accompanying information to the text, which will facilitate understanding for the reader.

native and non-native languages) is weakly themed in the stories collected through narrative interviews (Treichel, 2004: 142). Apparently, a similar phenomenon is observed in the average age group of the interviewed Russian Germans. Nevertheless, in spite of the above written difficulties in collecting language material, based on the interviews, a corpus of statements about the language that are thematically related to the time period 1941–1955 was prepared.

The first contact of the interviewed informants with the Russian language was mentioned in the texts about deportation events. That contact took place during deportation, or after arrival at the place of settlement.

Russian soldiers who accompanied trucks with special settlers and the local Russian population of Siberia were called Russian language speakers. Informants were hearing their speech for the first time (Examples 3, 4).

(3) *Mir sind in grouse Wagon gefahre, wo man Vieh fahrt. Wann mir ankomma sind, waren viel Leit. Die hene viel gesprouche, aber ich hun niks verstanne. Dann hene uns gsagt, dass die gekomma sind und wollte sehe, ob die Deitsche ein Schwanz hene.*

Engl.: *We traveled in large carriages for cattle traffic. When we arrived at the station, there were many people. They were talking about something [in Russian]. I did not understand. Then we were told that they came to see if the Germans have tails.*

(4) *Wenn mir noch Sibirien komme sind, dann hun ich von den Rusen tes Ružich gehert.*

Engl.: *As soon as we came to Siberia, I heard Russian from the Russians.*

It should be noted that according to the professional literature the Russian language was widely disseminated in the ASSR of Volga Germans before the War. For example, N. Berend writes that after the Great October Socialist Revolution in 1917 the Russian language in the Volga republic became an instrument of inter-ethnic communication and it changed the status from the contact language to the overlapping one by the beginning of the War. However, a scientist admits that, although in 1937 the Russian language was introduced in Volga schools as a compulsory subject, the level of the Russian language proficiency of Volga Germans was low (Berend, 1998: 13–15). The carried language biographical study shows that respondents first encountered Russian speech during their forced migration from Volga region to Siberia.

The local Russian population of Siberia connected Volga Germans with the Nazis and, therefore, were unfriendly towards them. Remembering the first contact with the Russians and Russian speech, informants often mention a word "fascist". The word "fascist" is often mentioned as the first word heard in Russian. This lexical item is associated negatively by the Germans (Example 5).

(5) *Mir sind uf die Strase gegange, dann hene die Kinnr auf uns Steine geschmise und die hene gekriže* "*Faschist*", "*Faschist*". *Ich hun net verstanne, was die gekriže hen. Dann hun ich den Pap gefrocht, dann hot der mich gesagt, was das ist.*

Engl.: *We were walking along the street, and children started throwing stones and shouting "Fascist!", "Fascist!" And I did not understand why they shouted. Then I asked my father (...), he explained.*

As known, during the War and postwar years, German settlers had no opportunity to visit educational institutions regularly (due to poverty, lack of shoes and warm clothing, employment in the state and collective farms, etc.), that's why most of them did not finish high school. According to the collected interviews, informants did not have school education, not only because of discrimination based on their national origin at school, the negative attitude towards them from their Russian-speaking classmates, but also because of the prohibition to use the mother tongue (Examples 6, 7).

(6) *Tie Lehrerin hot gsacht: "In der Schuhl nicht Taitsch spreche, ehr sellt net Deitsch spreche!" Derfe net, nur Ružich, Ružich!*

Engl.: *The teacher ordered: "Don't speak German at school. You are not allowed to speak German! Not allowed, only Russian, Russian!*

(7) *Mir sint so ufgewachse! Immer Ružich, Ružich. Wann mir in die Schul komma sind, derften mir des Deitsch net spreche. Des derften mir nicht. Des war arich schwer fir uns.*

Engl.: *We've so grown up! All along is the Russian language. When we went to school, we could not speak German, it was impossible. And it was hard for us.*

The prohibition to use the mother tongue – German dialects, the negative attitude to it of the local Russian-speaking population at school led to the fact that during that historical period the command of the German dialect is considered as the possibility that is preferably not to advertise or even hide (Examples 8, 9).

(8) *Ich hun verstanne, was sie sagt, aber ich tu liever schweige. Sunst sie sache wieder "Faschist"!*

Eng.: *I understood what she said [a German teacher], but I kept silence. Otherwise, they [classmates] would say again, "Fascist"!*

(9) *Dort hun ich kla bisje die Buchstave gelernt, kla bisje lese. In der Schul war alles uf Ružich, mir hen nur uf Ružich verzählt. Mein Bruder ist in die Schul gange und kein Ružich gesproche. Die hun fir des geschloge. Aller Tach, wenn er komma ist, hen sie gekrieže "Du Faschiste, Du Fritze!"*

Engl.: *There I learned a little, learned the letters, and read a little. At school everything was in Russian, we spoke only in Russian. And how! My brother went to school and did not speak Russian. For this he was beaten. All the days that he came, they shouted: "You're a fascist, you are Fritz!"*

Only in some cases, informants indicated that sometimes they deliberately used their native language in the presence of the Russian speakers. This was done in order to conceal the contents of the conversation from the interlocutors (Example 10).

(10) *Dass die Lehrerin uns net versteht, hen mir uf unsere Art gesprouche.*

Engl.: *And in order that the teacher did not understand us, we spoke in our own language [informant laughs]!*

Informants are aware and comment on a sharp decrease of the functional significance of the dialect after migration to Siberia. According to their statements, in the years of the War, i. e., immediately after the forced migration, the German dialect becomes their main means of interfamilial communication (Example 11).

(11) *Des war uf der Wolga so, da hen mir iverall uf unser Art gesprouche, in der Schuhl, der Ham. Da hiere in Sibirien, in Sibirien nur der Ham.*

Engl.: *It's always just on the Volga, we spoke our native language, both at home and school. Here in Siberia, in Siberia only at home.*

In addition, the analysis of metalanguage statements corpus indicates that beyond the family the Germans used their native language only in intergroup communication, i. e. such communication that excludes the presence of Russian speakers. One of the most frequently mentioned kind of intercommunication during the War and postwar years was communication during German religious community meetings. As known, the ethnic Germans living in Russia, are characterized by their devotion and respect for their religious traditions. In Tomsk region among the German population, there are Catholics, Lutherans, Mennonites, Baptists, Adventists and Pentecostals. Meetings were secretly carried out at home by a member of the community and it was the place where, according to the participants of meetings, "there was no Russian" and "it was spoken only native language". Devotion and chants were in standard German with dialect connotation, and communication between the participants of the meeting took place in German dialects.

According to the collected texts, informants are aware that participation in meetings of religious communities contributed to the preservation of their native language competence in the foreign language environment (Examples 12, 13).

(12) *In der Kerch hun mir auf Deitsch verzählt, drum kann ich uf unsere Art spreche.*

Engl.: *In the church, we spoke German, so I know our dialect.*

In metalanguage statements of the informants during the time period of 1941–1955, High German was mentioned along with the German dialects and the Russian language. After the War, the interviewed Germans visited schools where High German was taught. It is noteworthy that in metalanguage statements referring to the pre-war period (Childhood in Volga region), a school subject

"German" is not opposed to the mother tongue – the German dialect. It is associated not with the process of studying the "other" version of the German language or the "other" language, but rather mastering the skills of reading and writing in their native language. And in the context concerning their studies at Siberian schools, the subject "German" is often characterized as a "stranger", or "other unintelligible language" (Examples 13, 14).

(13) *In ružisch Schuhl hun ich trei Klasse geendigt und literaturisch da gehehrt! Nach literaturisch sprouche net.*

Engl.: *At Russian school, I studied for three years and I heard the literary language there. The literary one I could not speak.*

(14) *In Krich derften wir nicht in die Schuhl gehe. Mir hen immer in Kolhoz geschafft. Drum kann ich tes Hochdeitsch net. So uf unsere Art, wie der Hahm, kann ich.*

Engl.: *We did not go to school during the War [informant sighs]. Yeah, everybody worked in kolkhoz, so I cannot understand the literary High German. After our manner, I can like it at home.*

Different attitudes of informants to the school subject "German" in various biographical periods is explained, apparently, by the fact that the German language was taught at schools of Volga region as a mother tongue, and at schools in Siberia (including Tomsk region) as a foreign language. In addition, High German was used in official communication in the Volga Republic, including educational institutions and had dialect connotation (Berend, 1998: 14–15). Standard German with dialect connotation differed from the dialect used by the Germans in everyday life, less than standard German taught at schools in Siberia.

Conclusion

Thus, the given research shows that collecting of metalanguage data from Russian Germans concerning the period of "War and post-war years" is a difficult task. It is complicated by the specific features of experienced historical events and the young age of informants during the period under review.

Despite the certain complexity, a corpus of Tomsk Germans' use of the language was prepared, and a "subjective" model of the collective language biography was developed based on its analysis. The information contained in metalanguage statements allows including the following main sections in the model: a list of the used languages, communication spheres of their usage and language associations. The content of these three sections of the model are summarized in Table.

Actual modeling of language biography enables one to educe the most striking phenomena, for the language perception of informants, which took place many years ago. Informants expressed their opinion about the languages they spoke and for which they were contacted during the period under review. Communication areas where these languages were used are also indicated. Informants described the events that contributed to the preservation of their language competence (for example, participation in religious communities) and, conversely, its loss (e. g. stigmatization of German dialects from the Russian-speaking population, etc.). Collected metalanguage statements of informants also give an idea of the state and development of the language competence of the elder generation representatives of the Germans during the studied historical period. So, the interviewed Germans mention that after moving to Siberia, the process of Russian language acquisition was difficult for their parents.

The scope of emotional perception of the languages during the studied historical period is characterized by a negative attitude toward High German, a positive attitude toward the native language (German dialects) that, in spite of the stigmatization, continued to be used in interfamilial and intergroup communication spheres. Attitudes towards the Russian language can be described as neutral. Statements relating to the War and postwar years refer to it as the language of Siberia, the language of the new place of residence after moving from Volga region, the language of the Russian population informants, which covered all spheres of life.

Language biography of the Germans of Tomsk region

Period	Mentioned languages	Mentioned communication spheres of languages	Attitudes/Associations
The period of "The War and post-war years"	German dialect	1) interfamilial 2) intergroup	1) taboo language 2) knowledge of the language is necessary to hide, not to advertise
	Standard German	1) school	1) written, literary "foreign", another language
	Russian language	1) communication with Russian convoy during the deportation 2) communication with the local Russian-speaking population	1) the language of Siberia, the language of the new neighbors 2) unintelligible language (especially for parents) 3) least favorite Russian word "fascist"

References

Alexandrov O. 2011. Yazikovaya biographiya nemetskikh dialektonositeley sela Kozhevnikovo Tomskoy oblasti [Language biography of German dialect speakers of village Kozhevnikovo in Tomsk region]. Vestnik KGPU imeni V. P. Astafeva, 4 (18), pp. 217–222.

Alexandrov O. 2012. Osnovnye cherty yaskovoy biografii nemtsev Tomskoy oblasti v voennye i poslevoennye gody [The main features of language biography of German of Tomsk region in the war and post-war periods]. Vestnik IGLU, 2 (19), pp. 120–125.

Alexandrov O., Bogoslovskaja Z. 2009. Deutsche Inselmundarten in Sibirien. Würzburger Sendebrief vom Dialektforschen 20 (Dezember), pp. 3–9.

Anders C. A. 2010. Wahrnehmungsdialektologie: das Obersächsische im Alltagsverständnis von Laien. De Gruyter, Berlin.

Berend N. 1998. Sprachliche Anpassung: eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen. Narr, Tübingen.

Brake K. 1998. Lebenserinnerungen rußlanddeutscher Einwanderer: Zeitgeschichte und Narrativik. Reimer, Berlin.

Burdick C. M. 2008. Das Beobachterparadoxon in der Feldarbeit: eine linguistische Perspektive. Müller, Saarbrücken.

Deminger S. 2004. Spracherhalt und Sprachverlust in einer Sprachinselsituation: Sprache und Identität bei der deutschen Minderheit in Ungarn. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Dennis R. P. 2010. Perceptual Dialectology in the 21st Century. In: Anders, C. A., u. a. (Hrsg.), Perceptual Dialectology: neue Wege der Dialektologie. De Gruyter, Berlin, pp. 1–30.

Eichinger L. M., Stickel G., Plewnia A. 2012. Sprache und Einstellungen: Spracheinstellungen aus Sprachwissenschaftlicher und Sozialpsychologischer Perspektive. Narr, Tübingen.

Franceschini R., Miecznikowski J. 2004. Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Peter Lang, Bern.

König K. 2014. Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion. Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen. De Gruyter, Berlin.

Tophinke D. 2002. Lebensgeschichte und Sprache. Zum Konzept der Sprachbiographie aus linguistischer Sicht. In: *Adamzik, K., u. a.* (Hrsg.), Sprach biographien. Vereinigung für angewandte Linguistik in der Schweiz. Bulletin VALS-ASLA, num. 76, pp. 1–14.

Treichel B. 2004. Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit: Autobiographisch narrative Interviews mit Walisern zur sprachlichen Figuration von Identität und Gesellschaft. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Acknowledgements

This study was completed as part of the research project "*Language and culture of Tomsk region's ethnic community of the Russian Germans*" funded by the Russian Humanitarian Scientific Fund. Grant Number 15-14-70602. Dr. Oleg Alexandrov took part in this study.

Alexandrov O. A., Dr., Associate Professor.
Head of the Department of Foreign Language,
National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina 30, Tomsk, Russia, 634050.

Alexandrova A. A., Master student.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

Материал поступил 01.02.2016

Александров О. А., Александрова А. А.

ЯЗЫКОВАЯ БИОГРАФИЯ НЕМЦЕВ СИБИРИ

Представлены некоторые результаты исследования метаязыковой рефлексии носителей немецких диалектов, проживающих в Томской области – одном из регионов Российской Федерации.

Материал исследования собран посредством реализации полевых практик в сельские районы Томской области, в которых значительную часть населения составляют немцы. Анализируются высказывания информантов о языке, моделируется пережитая ими история использования языков. Модель, основанная на «субъективных данных», дает представление о релевантных и нерелевантных для восприятия билингвальных немецких диалектоносителей явлениях языка. Она также предоставляет возможность проследить развитие языковой лояльности и языковых ассоциаций данной этнической группы в диахроническом аспекте.

Ключевые слова: *немецкие диалекты в Сибири, российские немцы, языковые установки, языковая биография*.

Александров О. А., доцент.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, 634050.

Александрова А. А., магистрант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

Карпина Е. В.

К ВОПРОСУ О ВАРИАТИВНОСТИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕКСИКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ЮКАТАН

Затрагиваются основные вопросы, связанные с вариативностью языка на примере функционирования испанского языка на территории мексиканского полуострова Юкатан. Варьирование языка как процесс лингвистического изменения сам по себе очень непрост и подвержен влиянию множества факторов, часто друг от друга не зависящих. В каждой отдельной латиноамериканской стране формирование местных литературных норм испанского языка происходило по-разному. Испанский язык Мексики, в частности полуострова Юкатан, – одно из уникальных языковых образований не только потому, что это крупнейшая испаноязычная страна, но и потому, что это место, где органично сосуществуют стабильное общеиспанское ядро и диалектные особенности, обусловленные самобытностью мексиканской культуры.

Ключевые слова: *языковая вариативность, диалект, социальный статус испанского языка, норма речи, мексиканский национальный вариант испанского языка, полуостров Юкатан*.

Испанский язык мексиканцев является национальным вариантом испанского языка, так как ему свойственно соответствие функциям национального варианта: ранг официального, наличие национальной литературной нормы, статус родного для абсолютного числа жителей, выполнение полного объема общественных функций и лингвокультурологическая специфика. Испанский язык на территории полуострова Юкатан существенно отличается от норм мексиканского национального варианта испанского языка и имеет сходство с кубинским, андалузским, аргентинским, веракрузским. Немаловажно и то, что язык майя в настоящее время является одним из языков, на котором говорит население полуострова Юкатан, вследствие чего в испанскую разговорную речь вошло много слов из языка майя, и наоборот. Также имеют место и некоторые архаизмы, это связано с тем фактом, что полуостров долгое время находился в географической изоляции. Проведенный анализ имеющегося у нас лингвистического материала свидетельствует, что подавляющее большинство жителей полуострова осознает отличия своей речи от речи жителей других регионов Мексики и, что характерно, несмотря на наличие полиморфизма, способны соотнести их с общей идеей «юкатанского типа речи». В частности, в качестве доказательства можно привести примеры, полученные в ходе изучения городского койне в городах Мерида, Чичен-Ица, Ушмаль, Тулум (штат Юкатан), Сан-Франсиско-де-Кампече (штат) Кампече, Тулум, Косумель, Канкун (штат Кинтана Роо), Вильяэрмоса (штат Табаско) на вопрос «На каком языке Вы обычно говорите?» 32 % опрошенных дали ответ «на испанском», 54 % полагают, что говорят «на юкатанском». Нередко ответы респондентов носят узколокальный характер, когда говорящий идентифицирует свой идиолект с местом проживания. Так, жители штата Кампече говорят на кампечано, в Табаско говорят «на табасском» либо ограничиваются названием области или района или же «сочетают» в речи испанский (castellano) и юкатанский. Можно предположить, что в сознании жителей полуострова Юкатан их язык – это испанский, обладающий выраженными особенностями, которые легко распознать, вследствие чего нам представляется целесообразным использовать термин «юкатанский диалект», чтобы выделить его из других форм существования испанского языка на территории Мексики.

Особую роль в становлении национальной языковой нормы Мексики играла и продолжает играть столица страны – г. Мехико, где сливаются воедино разнообразные диалектные тенденции. С этим утверждением созвучно мнение нынешнего директора Мексиканской академии языка Хосе Гуадалупе Морено де Альба о том, что речь жителей г. Мехико в силу демографических, экономических и «культурных» (образовательных) факторов является своего

рода усредненным стандартом, или *койне* для всей страны *("una especie de promedio o koiné de lo que sucede a lo largo y ancho del país ")* (Moreno de Alba, 2001: 113).

Как уже отмечалось, современный испанский язык Мексики (крупнейшей испаноговорящей страны) сложился под влиянием разнообразных факторов как собственно языкового – языковые контакты и естественное развитие языка в первую очередь, так и социально-исторического и культурологического порядка. В больших городах новой провинции, где проживала преимущественно состоятельная образованная элита: адвокаты, государственные служащие, коммерсанты, крупные землевладельцы, священнослужители и т. п., сохранялся по большей части литературный вариант кастильского языка. Вдали от городов и образовательных центров испанский язык претерпевал изменения не только сам по себе, но и под влиянием индейского языка. На территории, на которой проживали индейские племена, говорили примерно на 80 индейских языках и диалектах, включая такие как язык отоми, тотонак, популюк, чонталь и мистек. По мере изучения коренными жителями различных диалектов колонизаторов развивались и новые «варианты» испанского языка. В первую очередь данная специфика объясняется влиянием индейского языка науатль и майя.

Вслед за Морено де Альба О. С. Чеснокова подчеркивает, что языковые контакты испанского языка и автохтонных языков Мексики нашли как культурно-антропологическое, так и внутриструктурное языковое воплощение. Современный испанский язык Мексики является красноречивым отражением динамики процессов пространственной и временной дифференциации и интеграции испанского языка. В нем органично сосуществуют общеиспанские, панамериканские, зональные и национально-специфические черты (Чеснокова, 2006: 26). К общеиспанским чертам относятся в первую очередь артикуляционная база, грамматический стандарт, основной словарный фонд, а также, как подчеркивал Морено де Альба, реализация литературной речи *(el habla culta): «...puede asegurarse que la unidad de la lengua, particularmente la llamada culta, es indudablemente mayor que antes»* / *«…с полной уверенностью можно сказать, что особенно на уровне литературной речи языковое единство более ощутимо, чем раньше»* (Moreno de Alba, 2001: 145).

Из панамериканских черт мексиканского национального варианта испанского языка нужно указать прежде всего *seseo* – неразличение межзубного (θ) и щелевого (s), в соответствии с чем, например, слова *caza* «охота» и *casa* «дом» произносятся с одинаковым щелевым звуком (s); стирание оппозиции форм *vosotros-ustedes* и предпочтение (за исключением штата Чьяпас, где употребляется местоимение *vos* формы 3-го лица множественного числа *ustedes* при обращении к собеседникам, к каждому из которых обращаются на *tú* (Lope Blanch, 1979b: 15).

К региональным чертам данного ареала относится явление *yeísmo* – неразличение произношения аффрикаты (y) и щелевого бокового плавного (λ) в пользу аффрикаты (y). Собственно национально-специфические черты пронизывают все языковые уровни. Наиболее отчетливо они прослеживаются в фонетике и лексике (в лексемах, осложненных культурно значимыми коннотациями, заимствованиях, семантических дериватах, фразеологизмах) и в меньшей степени затрагивают грамматические явления. Мексиканский грамматический узус в целом обнаруживает своеобразие реализации отдельных частей речи и грамматических категорий. Делая обзор работ о грамматических особенностях испанского языка Мексики и ссылаясь на Х. М. Лопе Бланша, Х. Г. Морено де Альба и других мексиканских лингвистов, М. Б. Фонтанелла де Вайнберг указывает такие примечательные реализации общеиспанских грамматических форм в Мексике, как перфективный характер Pretérito Perfecto Simple и имперфективный характер Pretérito Perfecto Compuesto, а также изменения в глагольных парадигмах (Fontanella de Weinberg, 1992: 219–220). Подробное описание семантики и стилистики глагольных форм в испанском языке Мексики представлено в работе Х. Г. Морено де Альба (Moreno de Alba, 2001).

Неоднородность и вариативность испанского языка внутри Мексики обусловливает его диалектное разнообразие, т. е. мексиканский национальный вариант существует и в виде внутринациональных диалектов. Диалектное расслоение испанского языка Мексики не раз подвергалось специальному исследованию и картированию. П. Энрикес Уреньа, а вслед за ним и Дж. Баркер выделяют пять диалектных зон в Мексике, которые характеризуются фонологическими и лексическими несоответствиями. Национальный «стандарт», по их мнению, базируется на речи жителей Мехико и окружающих его центральных горных районов. Другими зонами являются: северная, южная (Морелос, Герреро, Оаксака), прибрежная (Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече) и, наконец, относительно изолированная территория полуострова Юкатан (Henríquez Ureña, 1938; Barker, 1972)[1].

Другими диалектными зонами в Мексике, по мнению известного американского ученого М. Идальго, являются: «…регион севера Мексики – обширная территория, поделенная на четыре субрегиона; район южного плоскогорья, который включает столицу Мексики и такие города, как Пуэбла, Куэрнавака и Керетаро» (Hidalgo, 1987: 172).

Х. М. Лопе Бланш выделяет в Мексике семнадцать диалектных зон, при этом подчеркнем, что Х. М. Лопе Бланш рассматривает полуостров Юкатан как самостоятельную диалектную зону (Lope Blanch, 1979a: 59–132). Последняя гипотеза находит поддержку в дальнейшем изучении им фонетической вариативности в штате Юкатан, а также в мексиканских штатах Кампече, Кинтана Роо, Табаско и Веракрус. В своих исследованиях известный мексиканский филолог анализирует заальвеолярную артикуляцию вибрирующих одноударного и многоударного /r/. Переднеязычный заальвеолярный вариант (τ), не существующий в фонологической системе испанского языка, общеупотребим на полуострове Юкатан, а его частотность снижается по мере удаления от региона адстрата майя до полного исчезновения. Вследствие чего Лопе Бланш делает вывод о возможном влиянии языка древних майя на испанский язык штата Юкатан (Lope Blanch, 1979b: 52–53).

В своем труде «Некоторые случаи фонетического полиморфизма в Мексике» Х. М. Лопе Бланш описывает реализацию четырех фонем: /f/, /č/, /r/ в конечной позиции и фонемы /y/ в городских и сельских районах штатов Юкатан, Кампече, Кинтана Роо, Табаско и Веракрус. Результаты данного исследования не только еще раз подтверждают уникальной положение полуострова Юкатан, отмеченное ранее, но также определяют особый статус штата Табаско в качестве переходной диалектной зоны. При этом Х. М. Лопе Бланш подчеркивал, что чем выше уровень развития и образования носителей языка, тем стабильнее фонетико-фонологическая система (Lope Blanch, 1979a: 27).

В отношении лексики испанского языка на территории полуострова Юкатан отметим, что индейскими языками, оказавшими влияние на испанский, в порядке возрастания, стали языки каито, сапотеко, отоми, тараско, майя и науатль. При этом многие заимствованные из индейских языков слова претерпели изменения и в настоящее время не употребляются в изначальной форме, т. е. они не произносятся и не пишутся в форме, которая бы отличалась от привычных для испанского языка. Данные модификации произошли в основном в фонетике заимствованных слов, поскольку конкистадоры затруднялись произносить отдельные странные звуки, например звонкое твердонебное -/tl/. Или, как отмечает Уго Мехиас: «…начальная группа /tz/ свистящая смычная аффриката в науатле и которая в дальнейшем преобразовалась в /ts/ а позже стала произноситься как /s/» (Ugo Mejías, 1980: 43).

Изучение мексиканского вокализма отражено в работах А. Алонсо, А. М. Эспиносы, П. Энрикеса Уреньи, А. Саморы Висенте. По особенностям вокализма в мексиканском национальном варианте испанского языка обычно выделяют две зоны: прибрежную (с почти полным сохранением общеиспанской артикуляционной базы и редукцией гласных и согласных)

[1] Более подр. см.: Henríquez Ureña P. El español en Me□jico, los Estados Unidos y la América Central. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires,1938. 105 p.; Barker G. C. Social Functions in Language in a Mexican-American Community. Tucson: University of Arizona Press, 1972. 147 p.

и зону Мексиканского нагорья (ослабление гласных и почти полное сохранение согласных). Отметим также, что общепризнан особый, «певучий» *(«especie de canto»)* тип мексиканской интонации и влияние науатль и майя, которое прослеживается в консонантных группах, которое объясняется наличием в фонетике науатль глухого зубно-альвеолярного бокового фрикативного (Ļ):

tl: tlapanco > tapanco (чердак),

cm: Chicmecatitla>Chigmecatitla,

htz: Nauhtzontla > Nauzontla,

ztl: Tepoztlan > Tepotlán.

Звуки, соответствующие букве *«x»,* имеют в разговорной речи жителей полуострова Юкатан широкий диапазон произнесения:

– (s) в начале слова и перед согласными, как в словах *Xochimilco* (sochimílko), *Xifón* (sifón), *Taxco* (tásko);

– (x) между гласными, как в названии страны – *México* (méxiko) или в названии штата *Oaxaca* (oaxáka);

– аутентичное произношение, как (sh) в словах индейского происхождения: *Xalitla* (shalítla), *Xoxtla* (shóstla).

Обилие слов из науатль и майя – отличительная черта испанского языка в исследуемом ареале. Мексиканский лингвист Лопе Бланш в своей работе «Индейская лексика в испанском языке Мексики» (1969) делит науатлизмы, существующие в мексиканском варианте, на шесть групп. Ниже приведены некоторые примеры, отмеченные Лопе Бланшом:

Группа 1. Вокабулы известные абсолютно всем (99–100 % мексиканцев): aguacate – авокадо; cacahuate – арахис; cacao – какао; coyote – койот; cuate – друг, приятель; chamaco – мальчик, ребенок; chocolate – шоколад; escuincle – маленький ребенок; guajolote – индейка; papalote – бумажный змей; popote – соломинка для питья; tomate – зеленый помидор (разновидность помидора для готовки).

Группа 2. Вокабулы, которые известны почти всем мексиканцам (85–98 %): ahuehuete – разновидность дерева большой высоты; ajolote – мексиканская амфибия; ayate – айяте (редко волокнистая ткань из агавы); chamagoso – неряха, грязнуля; mapache – американский барсук; mezquite – род американской акации; olote – маисовый початок без зёрен; piocha – козлиная бородка, эспаньолка.

Группа 3. Вокабулы, известные половине говорящих (50–85 %):

chachalaca – мексиканская птица семейства куриных; jicote – разновидность осы; quetzal – кетцаль (птица); tiza – мел; tlaco – старинная монета.

Группа 4. Малоизвестные вокабулы (25–50 %):

acocil – лангуст размером 3–6 см; colote – хранилище для кукурузы; achahuisclarse – быть пораженным тлёй; jilotear – созревать, наливаться (о кукурузе); nauyaca – науйяка (ядовитая змея).

Группа 5. Очень малоизвестные вокабулы (2–25 %):

ayacahuite – сосна (разновидность); cuescomate – кукурузный амбар; juil – карп (разновидность); tepeguaje – упрямый, настойчивый; aguate – мелкая острая колючка (на стволе кактуса).

Группа 6. Практически неизвестные вокабулы (0–1 %):

cuitla – птичий помет; pizote – одно из млекопитающих животных; pascle – густой мох пепельно-зеленого цвета (используется как праздничное украшение в доме); yagual – валик (для переноски тяжестей на голове); zontle – сонте (единица счета кукурузы, фруктов и т. п.) (Lope Blanch, 1968).

Кроме науатлизмов в мексиканском варианте испанского языка существуют заимствования и из других индейских языков, среди которых язык майя занимает второе место. В качестве примеров можно привести такие слова, как balak – тележка, вагонетка, chich – твердый, жесткий, hooch – имитация, подделка, tuch – калабасо (народный музыкальный инструмент из

плода гуиро), xix – остаток и другие заимствования, которые употребляются преимущественно на юго-востоке страны и являются явлениями юкатанского диалекта.

Можно выделить несколько путей взаимодействия между индихенизмами и соответствующими им общеиспанскими лексическими единицами:

1) совпадение значений и равнозначное функционирование испанских и заимствованных единиц: *guajolote* (pavo) 'индейка'; *cuate* (gemelo) 'близнец'; *escuincle y chamaco* (niño) 'ребенок'; *tatemar y chichinar* (quemar, chamuscar) 'обжигать, обугливать'; *mecate* (reata, cordel) 'веревка, бечевка, шнур';

2) во многих случаях семантика слов-индихенизмов заключает в себе дополнительное значение, дифференцирующее их смысл от соответствующих им общеиспанских единиц. Так, ацтекизм *molcajete* применяется для обозначения кухонной ступки, сделанной из камня (mortero de cocina, hecho de piedra); существительное *tianguis* (из ацтекского Tianguisti – 'рынок') имеет широкий спектр применения для обозначения разнообразных рынков, расположенных на открытом воздухе (el mercado indígena que se celebra al aire libre);

3) в некоторых случаях слова, пришедшие из индейских языков, заменяют соответствующие им пиренейские эквиваленты, а иногда и полностью вытесняют их: *tecolote* (вместо buho) 'филин'; *chapulín* (saltamontes) 'кузнечик'; *atole* (papilla) 'питательная каша (обычно из кукурузы)'; *zacate* (вместо hierbajo или estropajo) 'кормовая трава'; *milpa* (maizal) 'маисовое (кукурузное) поле'; *ejotes* (вместо judías verdes) 'стручки молодой фасоли'; *jacal* (choza) 'хижина, лачуга'; *papalote* (cometa, volantín) 'бумажный змей'.

В испанском языке Мексики существует огромное количество индихенизмов, которые обозначают мексиканские реалии и для которых не существует соответствующих эквивалентов в пиренейском национальном варианте испанского языка. В первую очередь это относится к тем словам, которые обозначают:

1) флору: *zapote* 'сапоте – лавровое дерево', *tacalote* 'такалоте – американский боб', *mezquite* 'меските – разновидность акации', *gua-jilla* 'гуахилья – разновидность акации', *escagüil* 'эскагуил – драконово дерево', zalate 'салате – разновидность фикуса', *quelite* 'келите – петушиный гребешок', *jicama* 'хикама – клубень', *chayóte* чайот(е) – плод', *ixtle* 'ихтле – растительные волокна';

2) фауну: *chachalaca* 'чачалака – разновидность утки', *cenzontle* 'сенсонтле – многоголосный пересмешник', *cacomistle/cacomixtle* 'какомистле – кошачий енот', *tuza* 'туса – мешотчатая крыса', *tulix* 'тупике – стрекоза';

3) национальные блюда, напитки, идущие в пищу продукты: *pozole* 'посоле – блюдо из кукурузы, свинины и перца', *totopo* 'тотопо – лепешка из кукурузной муки', *mole* 'моле – соус', *tamal* 'тамаль – пирог из кукурузной муки с мясом и специями', *tacazota* 'такасота – маисовая лепешка', mezcal 'мескаль – водка из агавы', *tejuino* 'техуино – кукурузная водка', *pinole* 'пиноль – напиток из поджаренной кукурузной муки с сахаром, корицей и ванилином', *tlacoyo* 'тлакойо – омлет из фасоли';

4) различные традиционные атрибуты индейского быта, а также исторические реалии: *cacastle / cacaxtle* 'какастле – короб, корзина; деревянная рама для ношения тяжестей на спине', *metate* 'метате –зернотерка', *huacal* 'уакаль – ящик или корзина для перевозки фруктов', *comal* 'комаль – глиняная сковородка', *tecomate* 'текомате – глиняная чаша', *ayate* 'айате – ткань из агавы', *huípil* 'уипил – женская рубашка у индианок', *tuncul* 'тункуль – маленький индейский барабан', *y acatas* 'йакатас – пирамиды на территории штата Мичоа-кан'[2].

В мексиканском национальном варианте испанского языка также отмечается влияние науатль в области грамматики. К примеру, известный мексиканский ученый Х. И. Давила Гариби является одним из сторонников идеи влияния языка науатль на чрезмерное использование диминутивных суффиксов в испанском языке Мексики. По его мнению, их постоянное использование

[2] Подр. см.: Lope Blanch, 1979°.

даже в таких словах, как *coñaquito* 'коньячок', *¡adiosito!* 'счастливо!', *apenitas* 'чуточку, чуть-чуть', *¡Diosito!* 'Боженька!', является несомненным результатом влияния «необыкновенно частотного» функционирования диминутивных форм (-conetl, -tepito, -tzin, -tzintli, -pil, -ton, -tontli) в языке науатль (Dávila Gáribi, 1959: 91–94). Существует аналогичная гипотеза, что общеиспанский суффикс -ito является эквивалентом уменьшительного суффикса из науатль -tzin (tli). Мексиканский суффикс -ito «перенял» функции суффикса -tzin (tli), не только служащего для передачи идеи уменьшительности, но и выступающего в качестве средства выражения оттенков отношения к собеседнику, в частности проявления благосклонности или уважения. Подобная точка зрения (Dávila Garibi, 1959; Jiménez Moreno, 1965; Margair, 1966), впрочем, имеющая своих оппонентов (Lope Blanch, 1968; Чеснокова, 2006), связывает высокую частотность мексиканских диминутивных форм с влиянием индейского субстрата, в первую очередь языка науатль, с присущей ему весьма развитой суффиксацией. Например, как подчеркивает О. С. Чеснокова, диалоги типа *«¿Cuándo entraron? **¿Ahorita?** – Sí, hace un **ratito»*** без установки на языковую игру практически невозможны в пиренейском испанском. Это объясняется тем, что подобная диминутивность является косвенной и по своей прагматической сущности служит целям воздействия на адресата и целям поддержания общения в позитивной тональности (Чеснокова, 2006: 28). В свою очередь, косвенная диминутивность исключительно широко представлена в латиноамериканских национальных вариантах испанского языка и составляет важную особенность коммуникативной культуры латиноамериканцев в целом.

Как известно, «архаизм» выделяется в качестве одной из самых ярких характеристик на данном языковом уровне и свидетельствует о «консервативности» испанского языка Мексики. Слова и значения, постепенно выходящие из употребления в пиренейском национальном варианте испанского языка, в Мексике, как и в некоторых других латиноамериканских странах, в настоящее время можно повсеместно слышать: *pararse* (в значении ponerse de pie) 'встать', *prieto (a)* (apretado) 'сжатый; тесный', *bravo* (valiente o enojado) 'храбрый, доблестный; сердитый, рассерженный', *demorarse* и *dilatarse* (tardar, retrasarse) 'задерживаться, запаздывать; отставать', *recibirse* (graduarse) 'получать ученое звание, степень', *cristianar* (bautizar) '(разг.) крестить, обращать в христианство', *esculcar* (espiar) 'выслеживать, подстерегать, шпионить', *apeñuscado* (amontonado) 'нагроможденный'. Многие пиренейские слова и фразы были занесены в Мексику с их значениями XVI в., в то время как в Испании они приобрели новое семантическое содержание, заменившее традиционные смыслы. Следующие примеры иллюстрируют семантический консерватизм мексиканской лексики: *¿cómo..? (Méx.) – ¿qué...? (Esp.); se me hace – me parece; también no – tampoco; ¿qué tanto? – ¿cuánto?; mucho muy – muchísimo; dizque – según dice; cada que – siempre que; cada y cuando – de vez en cuando; otro día – al día siguinte.*

Лексический уровень языка наиболее подвержен влиянию культурно-мировоззренческих факторов, но и наиболее трудно систематизируется. Однако сочетание архаичных и инновационных черт, особенности национального мировидения и языковой картины мира мексиканцев в целом придают национальную специфику испанскому языку на территории мексиканского полуострова Юкатан. В ряде случаев в исследуемом ареале имеет место архаичное функционирование грамматических форм, например наречия *luego* 'потом' в значении inmediatamente 'сейчас, немедленно', что послужило основой для возникновения нового стилистического приема: в современной мексиканской обиходно-разговорной речи часто фиксируется использование удвоенного наречия luego: *luego luego* – 'прямо сейчас'. Чрезвычайно употребительны также выражения типа: *se me hace* (me parece) 'мне кажется', *también no* (tampoco) 'также не', *¿qué tanto?* (¿cuánto?) 'сколько?' и некоторые другие. В анализируемом регионе архаична реализация некоторых предлогов, исполь-зовавшихся еще в «классическом» испанском языке. Например, *donde* и *de que* употребляются здесь в условных предложениях. При этом *donde* гораздо чаще выступает в значении условия, чем *de que* (причем даже в речи образованных людей: *«donde* se lo digas, te mato» 'если ты мне это скажешь, я тебя убью'). Также можно выделить: *cada que* и *cada y cuanto: «cada que* lo veo, me dice lo

mismo» 'кто бы меня ни встретил, говорит мне одно и то же'. В рассматриваемом регионе часто словосочетание *cada y cuanto* употребляется в качестве обстоятельства времени со значением 'иногда': «Lo veo en la Universidad *cada y cuanto»* 'Я иногда вижу его в университете'[3].

Наблюдения Н. Ф. Михеевой также свидетельствуют о том, что в диалектах на территории Мексики отмечаются значительные изменения на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях и выделяются, во-первых, собственно лексические диалектизмы, выступающие в качестве синонимов литературного языка. Во-вторых, так называемые этнографические диалектизмы, которые являются названиями таких специфических предметов и явлений, которые характерны лишь для зоны распространения диалекта (Михеева, 2005). В-третьих, еще одну разновидность лексических диалектизмов выделяет В. С. Виноградов – семантические диалектизмы, представляющие собой диалектные значения общеупотребительных слов (Виноградов, 1994: 76).

Н. Ю. Журавлева в диссертационном исследовании, посвященном словообразовательному, лексико-семантическому потенциалу оттопонимических номинаций мексиканского национального варианта испанского языка и их функционированию в культурном пространстве Мексики, подчеркивает, что «лексико-грамматические особенности мексиканского национального варианта испанского языка нашли свое отражение в формировании оттопонимических номинаций: *xochiteco, tlaquiltenanguense, axochiapaneco*, а также в предпочтении автохтонных элементов при образовании оттопонимических номинаций от многокомпонентных топонимов: *Naucalpan de Juárez ⇒ naucalpense*. <…> Топоосновы индейского происхождения сохранились и составляют значительную часть топонимической системы Мексики. Их можно считать первичными топономинациями – попытками описания географических объектов через апеллятивные номинации их характерных свойств» (Журавлева, 2013: 10). Например, названия штатов: Guanajuato, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua и т. д.; названия городов: Chilpancingo, Chetumal, Culiacán; названия рек: Usumacinta, Mezcalapa; названия вулканов – Paricutín.

С точки зрения лексики также отмечается значительное влияние английского языка: следующие слова существуют в обоих вариантах: *estandar, snob, pedigree, club, coctel, cheque, filmar, futbol, lider, sandwich, hall*. Однако из-за близости Мексики к США англицизмов здесь намного больше, чем в Испании: *carro, checar, hobby, folder, overol, referi, loncheria, closet, registrado, emergencia, sueter, cloch, suiche, elevador, yonque* (Lope Blanch, 1972: 27).

При исследовании культурной речи на территории мексиканского полуострова Юкатан вслед за Лопе Бланшом выделим:

1. Общеупотребительные англицизмы: basquetbol, bateo, beisbol, bikini, boxeo, closet, champú, coctel, cheque, elevador, emergencia, esmoquin, futbol, gol, líder, refrigerador, supermercado и др.

2. Часто употребляемые англицизмы: bar, bermudas, bistec, chequera, jochey, kinder, poncharse, ponchada, shorts и др.

3. Англицизмы средней частоты: barman, manager, porter, túnel, videotape, zípper и др.

4. Малоиспользуемые англицизмы: bilet, blazer, lonch, mofle, ofside, standar, stewardess, stop, tándem и др.

5. Спонтанные англицизмы: bartender, comics, game, gorra de golf, locker, magazine, pullover, rosbif и др.

Одна треть англицизмов обозначает понятия, связанные со спортом. На втором месте находятся слова, связанные с технологией, далее идут вокабулы, относящиеся к одежде и еде. Однако следует отметить, что, несмотря на огромное экономическое и культурное влияние США в Мексике, англицизмы не настолько более значительны, чем в других латино-

[3] Подр. см.: El español hablado en México, 1982.

американских диалектах. В северных пограничных штатах пропорция англицизмов очевидно больше: в Центральной Америке и на Антильских островах англицизмы играют большую роль, чем на территории Мексики.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие основные черты испанского языка на территории мексиканского полуострова Юкатан:

1. *Фонетические особенности*, которые возникли в результате влияния индейских языков:

– существование фонемы š (небная, фрикативная, глухая);

– существование звука ŝ (глухая, зубноальвеолярная аффриката);

– взрывное соединение *t +l*;

– потеря безударных и даже ударных гласных;

– четкое произнесение конечных и интервокальных согласных, редукция гласных, например, при контакте согласного / s / с гласным звуком / e /, который выпадает;

– букве /x/ в Мексике соответствует несколько звуков: /s/ – в начале слова и перед согласными, например *Xochimilco (sochimilko)*; */x/* между гласными представляет собой фрикативную глухую */x/*, как в ('kaxa) 'caja' (ящик), например *Oaxaca (Oaxaka)*; */ sh /* – в словах индейского происхождения *Xoxtla (shóstla)*;

– растянутое произношение /s/, особенно в конце слова.

2. Также выделяются следующие основные *грамматические особенности*, которые традиционно связываются с индейским субстратом:

– суффикс -eco;

– частое использование уменьшительных, диминутивных суффиксов;

– излишнее употребление притяжательных форм;

– перфективный характер Pretérito perfecto simple;

– имперфективный характер Pretérito perfecto compuesto.

3. В *лексическом плане* среди индихенизмов большую часть составляют этнографические элементы, названия овощей и фруктов, мебели и орудий труда и т. д.

Таким образом, мы еще раз можем убедиться в том, что испанский язык представляет собой уникальное в мировой практике явление: с одной стороны, испанский язык относится к наиболее распространенным языкам мира, с другой – удивительным образом сохраняет свою языковую целостность.

Список литературы

Виноградов В. С. Лексикология испанского языка. М.: Высш. шк., 1994. 192 с.

Журавлева Н. Ю. Словообразовательный и лексико-семантический потенциал оттопонимических номинаций в мексиканском национальном варианте испанского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2013. 20 с.

Михеева Н. Ф. К вопросу о классификации диалектов современного испанского языка // Вопросы иберо-романской филологии: сб. ст. Вып. 7 (юбилейный). Посвящается 80-летию проф. В.С. Виноградова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. С.177–183.

Чеснокова О. С. Отражение языковой картины мира в развитии лексической системы мексиканского национального варианта испанского языка: дис. … д-ра филол. наук / Рос. ун-т дружбы народов. М., 2006. 358 с.

Barker G. C. Social Functions in Language in a Mexican-American Community. Tucson: University of Arizona Press, 1972. 147 p.

Dávila Gáribi J. I. Posible influencia del náuatl en el uso y abuso del diminutivo en el español de México // Estudios de cultura náuatl. México, 1959. Pp. 91–94.

El español hablado en México. Tomo IV. México: Comisión para la defensa del idioma español, 1982. 68 p.

Fontanella de Weinberg M. B. El español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 288 p.

Henríquez Ureña P. El español en Me□jico, los Estados Unidos y la América Central. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1938. 105 p.

Hidalgo M. Español maxicano y español chicano: Problemas y propuestas fundamentales // Language Problems and Language Planning. Texas: University of Texas Press, 1987. Vol. 11, N 2. Pp. 160–172.

Lope Blanch J. M. El español de América. Madrid: Ediciones Alcalá, 1968. 150 p.
Lope Blanch J. M. Estudios sobre el español de México. México: UNAM, 1972. Pp. 34–73.
Lope Blanch J. M. Algunos casos de polimorfismo fonetico en Mexico // Investigaciones. Mexico: UNAM, 1979b. Pp. 97–111.
Lope Blanch J. M. Un caso de posible influencia maya en el espanol mexicano // Investigaciones. Mexico: UNAM, 1979a. Pp. 41–53.
Mejías H. A. Préstamos de lenguas indígenas en el español americano del siglo XVII. México: UNAM, 1980. 450 p.
Moreno de Alba J. Zonas dialectales de Tabasco y Veracruz. Estudio léxico. México: NRFH 25, 2001. Pp. 332–335.

Карпина Е. В., кандидат филологических наук, доцент.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000.
E-mail: elenaespan@hotmail.com

Материал поступил 26.08.2015

Karpina E. V.

TO THE QUESTION OF VARIABILITY OF SPANISH IN THE TERRITORY OF THE MEXICAN PENINSULA YUCATAN

Article raises the main questions connected with variability of language on the example of functioning of Spanish in the territory of the Mexican peninsula Yucatan. A language variation as process of linguistic change in itself is very difficult and subject to influence of a set of factors, often from each other not the dependent. In each certain Latin American country formation of the literary standards of Spanish happened differently. Spanish of Mexico and, in particular, the peninsula Yucatan – one of unique language educations not only because it is the largest Spanish-speaking country, but also a place where the stable all-Spanish kernel and dialect features caused by identity of the Mexican culture organically coexist.

Spanish of Mexicans is national option of Spanish since compliance to functions of national option is peculiar to it: a rank official, existence of national literary norm, the status native for absolute number of inhabitants, performance of full volume of public functions and language and culture specifics. Spanish in the territory of the peninsula Yucatan significantly differs from norms of the Mexican national option of Spanish and has similarity with Cuban, Andalusia, Argentina, Verakruz. Also that the Maya language is now one of languages on which speaks the population of the peninsula Yucatan owing to what the Spanish informal conversation included many words from the Maya language. Considerable changes at the phonetic, grammatical and lexical levels are noted.

Key words: *language variability, dialect, social status of Spanish, standard of the speech, Mexican national option of Spanish, peninsula Yucatan.*

References

Vinogradov V. S. Leksikologiya ispanskogo yazyka [Lexicology of Iranian Language]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1994. 192 p. (in Russian).
Zhuravlyova N. Y. Slovoobrazovatelnyy i leksiko-semanticheskiy potenzial ottoponimicheskikh nominatsyy v meksikanskom natsionalnom variante ispanskogo yazyka: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Derivational and lexical-semantic potential of de-toponimic nominations in Mexican national variety of Spanish. Abstract of thesis cand. of filol. sci.]. Moscow, 2013. 20 p. (in Russian).
Miheeva N. F. K voprosu o klassifikatsii dialektov sovremennogo ispanskogo yazyka. *Voprosy ibero-romanskoy filologii: sbornik statey. Vyp. 7 (yubileynyy). Posvyashchaetsya 80-letiyu professora V. S. Vinogradova* [Towards classification of dialects of modern Spanish]. Moscow, Izd-vo Mosk. un-ta Publ., 2005. Pp. 177–183 (in Russian).

Chesnokova O. S. Otrazheniye yazykovoy kartiny mira v razvitii leksicheskoy sistemy mexikanskogo nazionalnogo varianta ispanskogo yazyka: Dis. d-ra filol. nauk [Reflection of the worldview in the development of lexical system of Mexcian Spanish. Thesis of doct. filol. sci.]. Ros. un-t druzby narodov. Moscow, 2006. 358 p. (in Russian).
Barker G. C. Social Functions in Language in a Mexican-American Community. Tucson: University of Arizona Press, 1972. 147 p.
Dávila Gáribi J. I. Posible influencia del náuatl en el uso y abuso del diminutivo en el español de México. *Estudios de cultura náuatl*. México, 1959. Pp. 91–94.
El español hablado en México. Tomo IV. México: Comisión para la defensa del idioma español, 1982. 68 p.
Fontanella de Weinberg M. B. El español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 288 p.
Henríquez Ureña P. El español en Me□jico, los Estados Unidos y la América Central. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires,1938. 105 p.
Hidalgo M. Español maxicano y español chicano: Problemas y propuestas fundamentales. *Language Problems and Language Planning*. Texas: University of Texas Press, 1987. Vol. 11, N 2. Pp.160–172.
Lope Blanch J. M. El español de América. Madrid: Ediciones Alcalá, 1968. 150 p.
Lope Blanch J. M. Estudios sobre el español de México. México: UNAM, 1972. Pp. 34–73.
Lope Blanch J. M. Algunos casos de polimorfismo fonetico en Mexico. *Investigaciones*. Mexico: UNAM, 1979b. Pp. 97–111.
Lope Blanch J. M. Un caso de posible influencia maya en el espanol mexicano. *Investigaciones*. Mexico: UNAM, 1979a. Pp. 41–53.
Mejías H. A. Préstamos de lenguas indígenas en el español americano del siglo XVII. México: UNAM, 1980. 450 p.
Moreno de Alba J. Zonas dialectales de Tabasco y Veracruz. Estudio léxico. México: NRFH 25, 2001. Pp. 332–335.

Karpina E. V.
Department of Foreign Languages,
National Research University Higher School of Economy.
Ul. Myasnitskaya, 20, Moscow, Russia, 101000.
E-mail: elenaespan@hatmail.com

Кобенко Ю. В.

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ ПРИРОДЫ ПСЕВДОЗАИМСТВОВАНИЯ

Предпринята попытка системного описания явления псевдозаимствования, характерного для современных литературных языков. В центре рассуждений находится экстралингвистический детерминизм данного явления, свойственный и обычным заимствованиям. Наиболее значимыми признаками псевдозаимствования выступают: вторичность по отношению к собственно заимствованию, образующему фундамент для дальнейшего функционирования иноязычного материала в языке-реципиенте; неизвестность и непонятность продуктов псевдозаимствования носителям самого языка-донора; манипуляторный характер образования псевдозаимствований, которые могут рассматриваться как продукты либо сознательной манипуляции носителями заимствованным морфологическим материалом, например, с целью эвфемизации, либо вынужденной, когда носители привлекают к словообразованию производящий морфемный материал языка-донора в силу его престижности. Преимущество предлагаемого подхода состоит в возможности холистической интерпретации природы псевдозаимствования с учетом тенденций социолингвистического и контактологического порядков.

Ключевые слова: *псевдозаимствование, апостериорные образования, манипуляция, тенденции к диаморфизму, экзоглоссная языковая ситуация*.

В последние годы в лингвистике отмечается появление работ, посвященных описанию явления псевдозаимствования и выполненных большей частью на материале немецкого языка, где действительно можно наблюдать образованные относительно недавно лексические единицы из морфемного англоязычного материала, отсутствующие, однако, в самом английском языке и/или в различных его вариантах (*Scheinanglizismen*). Наряду с этим укоренилась и, к сожалению, преобладает практика описания явления псевдозаимствования в типологическом ключе, т. е. как равнозначного и соположенного с другими типами лексического заимствования. За основу при этом берется обычная лексикологическая критериальная база, практикуемая отечественными и зарубежными лексикологами и предполагающая выделение классов явлений или, в лучшем случае, их гиперо-гипонимических свойств. Примечательно, что такой подход совершенно недвусмысленно и необоснованно лишает не только читателя, но и последователей системного понимания данного явления и возможности его дифференцированной интерпретации. Рассмотрение исключительно в лексикологическом (типологическом) ключе замыкает само явление в контуре парадигматики, представляя многоплановую, интересную природу псевдозаимствования не более чем продуктом лексического генезиса, а не функционирования языковой системы в контексте социального поведения самого человека. Для наглядности подобную одномерность можно сравнить с попыткой сплошной уравнительной инвентаризации различных органов человека без учета их различий по массе, строению, функции, времени и пути происхождения и только лишь на основе их одновременного присутствия в организме.

Любое заимствование преследует цель скопировать преимущество другого и, таким образом, сэкономить собственные усилия. Развитие вообще осуществляется главным образом за счет подражания наиболее значимым достижениям других особей, коллективов (в том числе языковых), систем и включения их в собственную стратегию эволюции. Кумулятивный потенциал человеческого и социального опыта тождествен кумулятивному характеру лексико-семантической системы языка, расширяющей свои возможности за счет интеграции иноязычного лексического материала.

Как и всякое явление в языке, заимствование является продуктом естественного или искусственного отбора: **естественный отбор** связан с социолингвистической природой заимствования, т. е. давлением престижных языков и безальтернативностью выбора используемого (иностранного) языка, к примеру языка-макропосредника (престижного металекта в определенной языковой ситуации); **искусственный отбор** имеет идиолектную и лингвополитическую природу: здесь человек или коллектив, принимая решение заимствовать из другого языка, руководствуется либо эстетическими принципами и заимствует **чужое** с целью обогащения **своего**, либо телеологическим критерием и заимствует с целью надобности того или иного обозначения, например, технической новации. Способы заимствования должны рассматриваться как каналы изменения языковой системы: с одной стороны, они разделяются на формальные способы (заимствование целых ксенизмов (*дерби, фьорд*) или ксеноэлементов, к примеру: *гипер-, ультра-*) и содержательные, чаще всего представленные калькированием (*Rinderwahnsinn – коровье бешенство*); с другой стороны, заимствование – всегда компромисс между созданием гетерогенных рядов омонимов (нем. *Rock* «юбка» – *Rock* «рок-н-ролл») и полисемантов (рус. *звезда* в значении «знаменитость» по образцу англ. *star*) – двумя главными каналами семантического изменения словарного состава.

Вопреки убеждениям ряда лингвистов, **причины заимствования – умеренного или инвазивного типов – преимущественно экстралингвистического порядка**. Интралингвистические предпосылки, как правило, вторичны и оказывают на сам факт заимствования весьма опосредованное влияние. Например, до сих пор принято считать, что средства чужого языка заимствуются, как правило, при отсутствии собственных («слово *Bortschsch* появилось в немецком языке ввиду наличия лексической лакуны»), что никак не подтверждается исследовательской практикой.

Во-первых, сам язык никогда не ощущает потребность в том, чего нет в его составе: система языка, или диасистема, всегда условно завершена и укомплектована в определенном участке диахронии и успешно обходится собственными (в том числе адаптированными заимствованными) ресурсами. Единичные же речевые практики заимствования распространяются главным образом на локальный или идиолектный узус и редко становятся достоянием целой системы. Кулинарные реалии могут претендовать на лакунарность преимущественно в профессиональных лексиконах (нем. *Fach-, Berufssprachen*), т. е. в периферийных слоях лексико-семантической системы. Регулярность использования единицы *Bortschsch* в обиходной немецкой речи даже на территориях бывшей ГДР, где данная реалия более знакома современникам, предельно низка. Но даже совокупные симптоматические статистики использования данной или схожих реалий русской кухни в пределах современной (новой) ФРГ не доказывают необходимости ее или их заимствования по причине отсутствия в составе немецкого литературного языка. Указанная единица была заимствована немцами в начале XIX в. наряду с другими экзотизмами из русского языка (*Tundra, Balalaika, Samowar* и т. п.) исключительно для описания реалий русской жизни. Немцы вкрапляют подобные единицы в речь ввиду исторически обусловленной «жадности до чужого» (нем. *Fremdgierigkeit*), известной со времен немецкого лингвиста эпохи барокко Й. Г. Шоттеля (J. G. Schottelius), т. е. желания отразить **чужое** средствами **чужого**, для достижения своеобразного речевого иконизма, точного и неискаженного цитирования чужой культуры, что уже выдает в подобных дискурсивных практиках экстралингвистический детерминизм. Учитывая же наличие разветвленных грамматических конструкций в системе немецкого литературного языка, маркирующих чужие цитаты (использование конъюнктива, модальных глаголов *sollen* и *wollen* в субъективном значении; последнего большей частью в судебной речи), цитирование **чужого** в немецкой литературной речи представляется привычным явлением, а также прямым следствием превалирования экстралингвистических факторов заимствования над интралингвистическими. Даже если необходимость заимствования и появляется, она, как правило, вызвана влиянием престижного языка-донора на язык-реципиент, что и побуждает носителей

последнего использовать в речи единицы престижного металекта. По такому же принципу изучаются иностранные языки: в системах образования иностранными считаются не неизвестные в собственной стране (татарский в России), не самые распространенные в мире (мандарин, испанский), а те, которые оказывают наибольшее влияние на определенный языковой коллектив в силу своего престижа, т. е. английский в России, французский на Мадагаскаре, немецкий в США. Следует подчеркнуть, что все перечисленные предпосылки заимствования подтверждают его экстралингвистическую детерминанту.

Во-вторых, практика наблюдения за литературными языками, т. е. языками, обнаруживающими в своем составе адаптированный резерв гетерогенного материала, который образует поверх ядерных (базовых) структур лексико-семантической системы так называемый дополнительный (адаптированный) пласт, недвусмысленно показывает, что в подавляющем большинстве случаев заимствуются обозначения, дублирующие семантику уже имеющихся слов (ср. появление «модных слов» англоязычного происхождения в современной немецкой речи: *Nightliner* вместо *Nachtbus*, *Loser* вместо *Versager*). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что **языку проще интегрировать иноязычные единицы в уже имеющиеся семантические контуры**, где они существуют вначале в статусе синонимов или вариантов слов, а позже склоняются к моносемии в результате действия языкового автоматизма «один знак – одно значение» (Якубинский, 1986: 31), исключающего внутрисистемную идеографию. Последнее объясняется таким свойством диверсификации языковых систем, как ризоматичность: единицы определенного лексико-семантического поля языка-реципиента образуют *ризому* (фр. rhizome – «разветвленность, корневище»; термин Ж. Делёза и Ф. Гваттари, 1977), добавление элементов которой (в частности путем заимствования) подразумевает автоматическое приобретение ими дифференциальных признаков, разрушающих парадигматические отношения синонимии и, следовательно, вариантность. В сравнении с синонимичными единицами другого языка элементы ризомы составляют расчлененное понятие, часто переводимое гиперонимически (генерализованно) в силу отсутствия в другом языке похожей ризомы, ср. в англ. *royal, kingly, monarch* с рус. *королевский*, в нем. *Finger, Daumen, Zeh(e)* с рус. *палец*. Тем самым, утверждение об интралингвистической подложке заимствования как способе ликвидации языковой лакунарности представляется весьма спорным.

Среди регулярных интралингвистических причин, представляющих класс сугубо миноритарных явлений в сложной парадигме изменения языковой системы, следует назвать случаи заимствования более компактных, экспрессивных, запоминающихся единиц с «отточенными» звукокомплексами (*поставить «лайк»*) или привлекательных словообразовательных моделей, позволяющих экономить речевые усилия: акронимических (*laser – light amplification by stimulated emission of radiation*), универбированных (*layout*), гибридных (с нумерической и буквенной частями: *Windows 8*), неоморфических (*italy – I trust and love you*), контракционных (*doc* вместо *doctor, bot* вместо *robot*), контаминированных (*motel* из *motor* и *hotel*) и т. д. В большинстве же своем предпосылки заимствования, как отмечено ранее, детерминированы экстралингвистически, подтверждение чему находим у различных теоретиков данного явления: к примеру, Л. П. Крысин пишет о «появлении новых общественных условий, выступающих ускорителями языковых процессов» (Крысин, 1989: 26); В. М. Жирмунский считает «основные линии развития языка отражением изменений общественной идеологии, обусловленных в конечном счете развитием общественно-экономических отношений» (Жирмунский, 1948: 296).

Доказательством сказанному выступает природа такого явления, как псевдозаимствование, имеющее исключительно экстралингвистическую этиологию. Как правило, его можно наблюдать при инвазивном типе заимствования, признаком которого является преобладание неологизмов, заимствованных или образованных на основе заимствованного материала, над собственными новообразованиями. Данный тип заимствования обозначается также экзоглоссным по аналогии с типом языковой ситуации, в которой наиболее коммуникативно мощным выступает компонент иностранного происхождения – металект (Виноградов, 1990: 616, 617),

являющийся для базового компонента (экспонента) одновременно языком-донором. Попадая в язык-реципиент, заимствования функционируют на начальном этапе бытности в новой системе в качестве неологизмов и составляют, таким образом, наряду с другими неологизмами область неологизации (языкового прироста). Если при умеренном типе заимствования область языкового прироста функционирует изоморфно, т. е. совокупное количество новозаимствованного материала не превышает половины всех неологизмов (<0,5), то экзоглоссный тип заимствования индицирует тенденцию к языковой инвазии, при которой наблюдается существенное преодоление порога изоморфизма и преимущественно диаморфное функционирование отдельных участков языковой системы или системы в целом (>0,5) (Кобенко, 2014: 18–19). Псевдозаимствования выступают своеобразным индикатором наметившейся тенденции языковой системы к диаморфизму; их появление свидетельствует о такой спецификации словообразовательных механизмов, при которой производящими основами выступает заимствованный морфологический материал определенного языка-донора. Данное обстоятельство побуждает обозначать псевдозаимствования апостериорными образованиями наряду с априорными – обычными лексическими заимствованиями. Итак, **первым существенным признаком рассматриваемого явления выступает его вторичность по отношению к собственно заимствованию**, которое становится фундаментом для последующих процессов (апостериоризации), связанных с функционированием заимствованного иноязычного материала в языке-реципиенте.

Вторым по значимости признаком псевдозаимствований является их неизвестность и непонятность носителям самого языка-донора, ср. глагол *стритовать* в значении «зарабатывать деньги уличным музицированием» от англ. *street* при отсутствии в английском языке глагола **to street*, что, однако, не мешает отдельным псевдозаимствованиям прочно входить в международный обиход, к примеру: слово *smoking* в значении «костюм», отсутствующее и в американском, и в британском вариантах английского языка. Наблюдаются случаи так называемого *обратного* заимствования псевдозаимствований главным образом через интенсивные языковые контакты, ср. единицу *Handy* в значении «сотовый телефон», образованную в немецком языке путем псевдозаимствования из англоязычного материала и заимствованную представителями отдельных регионов США. Данное обстоятельство доказывает необходимость искусственного отбора, преодолевающего границы современных языков и позволяющего даже носителям языка-донора признавать преимущество апостериорных образований на основе материала собственного языка из других языков-реципиентов. В работах последних лет, затрагивающих проблему псевдозаимствования, сложилась практика интерпретации псевдозаимствования как феномена потери «принципа обратимости» по В. В. Кабакчи (Кабакчи, 1998: 48). Во-первых, из приведенных выше примеров видно, что коммуникативная и семантическая обратимость возможна даже у псевдозаимствований, однако подразумеваемая морфологическая обратимость, предполагающая мотивированность, историко-этимологическую связность, т. е. некий путь единицы из языка-донора в язык-реципиент, не может быть потеряна в силу её отсутствия. Во-вторых, «принцип обратимости» может нарушаться со временем даже у регулярных заимствований (ср. единицу *шланг* в русском языке, утратившую обратимость с нем. *Schlange* «змея» при сохраняющейся морфологической параллели), что делает данный критерий непригодным для идентификации псевдозаимствования. На первый взгляд, описываемый признак рассматриваемого явления ставит под вопрос правомерность использования в исследованиях терминологических элементов контактологической антиномии «язык-донор vs. язык-реципиент». Положение усугубляет присутствие во многих работах, посвященных описанию данного явления, терминологической неувязки: псевдозаимствование «образуют» или «заимствуют»? Безусловно, невозможно исключить факт заимствования самой производящей основы и способа суффиксальной деривации (*-ing* в *smoking*), изначально

присущей английскому языку и манифестирующей его языком-донором, однако познание вторичности (апостериорности) псевдозаимствования недвусмысленно свидетельствует о словообразовательном детерминизме его природы. Указанная же антиномия является базовой для описания языковых контактов и их последствий; ее использование значимо прежде всего для дифференциации языковых систем, причастных к факту языкового контакта, и не может пересматриваться с учетом диверсификации симптомов данного контакта.

Третьим существенным признаком выступает манипуляторный характер образования изучаемого явления. В данном аспекте псевдозаимствования могут рассматриваться двояко: либо как продукты **сознательной** манипуляции носителями заимствованным морфологическим материалом, например, для идеологических целей, либо как феномен «реактивной мощности» языковой системы, вынужденной постоянно создавать новое из имеющихся средств, в условиях экзоглоссной языковой ситуации. В первом случае нередко происходит образование номенклатурных эвфемизмов, «маскирующих» средствами языка-донора определенные изъяны, недостатки, пороки и т. п. там, где их обозначение средствами собственного (титульного) языка создавало бы неудобства в коммуникации (Götze, Traoré, 1998: 7), ср. в нем. единицы *Longseller* «долго не продающийся товар» (по аналогии с *Bestseller*), *Outing* «публичное признание главным образом в нетрадиционной сексуальной ориентации». Чрезвычайно богата такого рода псевдозаимствованиями управленческая номенклатура в современной России. Изучающие английский язык функционеры порождают многочисленные языковые новинки вроде *foresight mastering* «управление развитием» или *business breeder* «бизнес-инкубатор», активно созидая узус, во многом схожий с окказиональным словотворчеством детей (наивными окказионализмами): изобретением новых слов (*невест*, *обужда*), снабжением уже имеющихся единиц новыми оттенками значений или новой лексической сочетаемостью (*кожа стен – обои*) и т. п. Во втором случае манипуляция иноязычным материалом приобретает характер **вынужденной** и восходит к степени престижности определенного иностранного металекта в экзоглоссной языковой ситуации: носители вынуждены привлекать к словообразованию производящий морфемный материал языка-донора в силу его популярности в коммуникативной практике. «Реактивная мощность» языковой системы, т. е. постоянно действующий механизм порождения нового доступными (рекуррентными) средствами, массово тиражируемыми в речевой практике, обрекает саму систему на производство псевдозаимствований в условиях экзоглоссии. Таким образом, чем выше коммуникативная мощность языка-донора (металекта), тем выше коэффициент диаморфизма в речи носителей языка-реципиента и, следовательно, более насыщенное содержание псевдозаимствованных единиц. Кумулятивная функция лексико-семантической системы, противопоставленная барьерной функции запретительной (пуристической) языковой политики, только способствует вынужденной манипуляции, наглядным примером которой выступают две группы апостериорных образований в немецком языке ФРГ, типологически образующие в его лексико-семантической системе отдельную ризому: 1) лексические и 2) синтаксические псевдозаимствования.

1. Согласно результатам единственного на сегодняшний момент исследования, дающего количественное представление о сегменте псевдозаимствований в лексическом составе немецкого языка, **20 % всех новообразований в нем за период 1990–1999 гг. составляют единицы, созданные на основе англоязычного материала** (Herberg et al., 2004: XV). Тем самым, в корпусе зафиксированных Д. Гербергом 800 неологизмов 90-х гг. числятся приблизительно 160 псевдозаимствованных единиц из английского языка, среди которых наиболее известны следующие: *Twen* «человек в возрасте от 20 до 30 лет» (по аналогии с *Teen*), *Dressman* «мужской манекен», *Pullunder* «свитер, надеваемый под одежду» (по аналогии с *Pullover*), *Service Point* «окно, касса на вокзале», *Steadyseller* «постоянный бестселлер», *Beamer* «видеопроектор» и др.

2. Синтаксические псевдозаимствования представляют линейно-комбинаторные способы манипуляции англоязычным языковым материалом по образцу немецких синтаксических конструкций, часто служащие источником юмора и предметом ортологических диспутов,

ср.: *you can say „you" to me* (по аналогии с *Sie können „du" zu mir sagen* «Вы можете обращаться ко мне на „ты"»), *you are right to say this* (по аналогии с *Sie haben Recht, das zu sagen* «Вы вправе это утверждать»).

Итак, псевдозаимствование представляется двойственным явлением: с одной стороны, приведенные выше признаки экстралингвистической обусловленности и само обозначение подчеркивают его экзогенную природу, с другой стороны, вторичность продуктов псевдозаимствования по отношению к собственно заимствованию свидетельствует о его эндогенном характере, т. е. принадлежности к внутренним процессам системы языка-реципиента. Интенсивность образования псевдозаимствований пропорциональна степени популярности заимствованного материала языка-донора в коммуникативной практике носителей языка-реципиента. Явление псевдозаимствования – симптом диверсификации системы языка и интернационализации морфологического субстрата языков-макропосредников: в условиях интенсивных международных контактов неологизация прекращает быть собственно языковым явлением и, подчиняясь тенденциям экстрапорядка, становится залогом гибридизации диверсифицирующихся языковых систем, индикатором которой выступает повышающийся языковой диаморфизм современных литературных языков.

Список литературы

Deleuze G., Guattari F. Rhizom. Berlin: Merve, 1977. 65 S.

Götze L., Traoré S. Pseudo-Englisch, „Dummdeutsch", „Plastikwörter" und Übersetzungsprobleme // Nouveaux Cahiers d'Allemand. 1998. Non. 3. P. 7.

Herberg D., Kinne M., Steffens D., Tellenbach E., Al-Wadi D. Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 2004. 393 S.

Виноградов В. А. Языковая ситуация // Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 616–617.

Жирмунский В. М. История немецкого языка. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1948. 300 с.

Кабакчи В. В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Института внешнеэкономических связей, экономики и права, 1998. 231 с.

Кобенко Ю. В. Тенденции к диаморфизму в современном немецком языке // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2014. Вып. 3(5). С. 17–22.

Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты современного русского языка. М.: Наука, 1989. 186 с.

Якубинский Л. П. Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. 205 с.

Кобенко Ю. В., доктор филологических наук, доцент, профессор.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Энергетический институт.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: serpentis@list.ru

Материал поступил 01.02.2016

Kobenko Y. V.

THE EXTRALINGUISTIC DETERMINISM OF THE NATURE OF PSEUDOBORROWING

The article attempts to provide a systemic description of the phenomenon of pseudoborrowing which is characteristic for modern literary languages. The focus of discussion is the extralinguistic determinism of this phenomenon also peculiar to conventional borrowings. The first significant feature of pseudoborrowing appears its secondary character to the actual borrowing, which becomes the foundation for the subsequent processes of a posteriori word formation within the recipient language. The second important

feature of pseudoborrowing is its being unknown and incomprehensible by speakers of a donor language. The third one is the manipulative character of this language phenomenon. Under this aspect pseudoborrowing can be viewed in two ways: either as a result of conscious manipulation of borrowed morphological material by recipient language speakers, e. g., for ideological purposes; or as a phenomenon of "reactive power" of language system, constantly forced to create something new out of available means within an exoglossic language situation. Pseudoborrowing is considered an ambivalent phenomenon: on the one hand, mentioned above extralinguistic determinism features and the designation itself emphasize its exogenous nature; on the other hand, the a posteriori nature of its products compared with the actual borrowing testify to its endogenous nature, i. e., belonging to the internal processes of a recipient language. The intensity of forming pseudoborrowings is proportional to the prestige of the borrowed donor language material in the communicative practice of recipient language speakers. The phenomenon of pseudoborrowing is a symptom of the diversification and internationalization of the morphological substrate of a certain lingua franca. The advantage of the approach proposed lies in the possibility of a holistic interpretation of the nature of pseudoborrowing considering trends of sociolinguistic and contactological orders.

Key words: *pseudoborrowing, aposteriori coinages, manipulation, diamorphism tendencies, exoglossic language situation.*

References

Deleuze G., Guattari F. Rhizom [Rhizome]. Berlin: Merve, 1977. 65 S.

Götze L., Traoré S. Pseudo-Englisch, „Dummdeutsch", „Plastikwörter" und Übersetzungsprobleme [Pseudo-English, „Silly German", „Plastic Words" und Translation Problems]. *Nouveaux Cahiers d'Allemand*, 1998. Nom. 3, p. 7.

Herberg D., Kinne M., Steffens D., Tellenbach E., Al-Wadi D. Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen [The New Vocabulary: Neologisms of the Nineties in German]. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 2004. 393 S.

Kabakchi V. V. Osnovy angloyazychnoy mezhkul'turnoy kommunikatsii: uchebnoe posobie [The Basic Principles of Intercultural Communication: A Study Aid]. St. Petersburg, Izd-vo Instituta vneshneekonomicheskikh svyazey, ekonomiki i prava Publ., 1998. 231 p. (in Russian).

Kobenko Yu. V. Tendentsii k diamorfizmu v sovremennom nemetskom yazyke [Diamophism Tendencies in the Contemporary German]. *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology*, 2014, no. 3(5), pp. 17–22 (in Russian).

Krysin L. P. Sotsiolingvisticheskie aspekty izucheniya sovremennogo russkogo yazyka [Sociolinguistic Aspects of Studying the Contemporary Russian]. Moscow, Nauka Publ., 1989. 186 p. (in Russian).

Vinogradov V. A. Yazykovaya situatsiya [A Sociolinguistic Situation]. *Lingvisticheskiy entsyklopedicheskiy slovar'* / pod red. V.N.Yartsevoy. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya publ., 1990. Pp. 616–617 (in Russian).

Yakubinskiy L. P. Yazyk i ego funktsionirovanie [Language and its Functioning]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 205 p. (in Russian).

Zhirmunskiy V. M. Istoriya nemetskogo yazyka [The History of the German Language]. Moscow, Izdatelstvo literatury na inostrannykh yazykakh Publ., 1948. 300 p. (in Russian).

Kobenko Yu. V.
National Research Tomsk Polytechnic University,
Department of Foreign Languages.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: serpentis@list.ru

Чертыкова М. Д.

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ГЛАГОЛАМИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Выявляются основные средства репрезентации субъекта в конструкциях с глаголами психической деятельности в хакасском языке, приводится их описание. Дается также смысловая характеристика субъектов при глаголах определенной семантики. Рассматриваются наиболее важные семантические роли субъекта в конструкциях с глаголами психической деятельности в хакасском языке. Наличие и названия этих ролей предопределяются спецификой парадигматики и синтагматики синтаксических конструкций, фиксируемых в рассматриваемом языке. Субъект интеллектуальной деятельности, эмоционального переживания, поведения, восприятия, говорения во всех этих случаях средствами хакасского языка характеризуется как одушевленное лицо, активный деятель, выразитель психического (антропологического) признака.

В хакасском языке имя, репрезентирующее субъекта, чаще всего выступает в форме именительного падежа (и часто это имя собственное): *Чоохты алыстырарға кирек, – хабын салған Евсейка* ‘Надо менять тему разговора, – спохватился Евсейка’. Хотя личные местоимения активно занимают позицию субъекта, но местоимения 1-го и 2-го лица, как единственного, так и множественного числа, имеют обыкновение выпадать из конструкции (лицо выражается в форме глагола). А местоимения 3-го лица часто используются в позиции субъекта во избежание повторяемости имени. Имя субъекта в хакасском языке может быть выражено также местным и направительным падежом. *Оолахты школада матап хырысханнар* ‘Мальчика сильно ругали в школе’. В обоих этих случаях существуют закономерности смыслового ограничения глаголов по выражаемому действию. Под субъектом, выраженным направительным падежом, могут подразумеваться организации, учреждения: *Сині институтсар хығыртчалар* ‘Тебя вызывают в институт’. Выводы о форме субъекта и особенностях синтаксических конструкций с именем субъекта при глаголах психической деятельности сформулированы в заключительной части статьи.

Ключевые слова: *субъект, предложение, глаголы психической деятельности, семантика, сочетаемость*.

Субъект, как носитель предикативного признака, в предложении играет важную роль, поскольку представляет собой сущностную, инвариантную единицу, в которой по-разному комбинируются как логико-грамматические, так и коммуникативные факторы, а его формальная объективация строго не закреплена. Лингвисты признают за субъектом особый предикативный статус и обосновывают его наличием множества семантических инвариантов, спецификой парадигматики и синтагматики.

С логической точки зрения субъект – это «тот элемент, который обеспечивает суждению отнесенность к миру» (Арутюнова, 1979: 323). «Субъект – это первый, независимый, обусловливающий объект системы, задающий признак или отношение, в зависимости от модели предложения, или не задающий обусловливаемые им объекты системы» (Абдуразаков, 1991: 6). «Субъект – это тот компонент в семантической структуре предложения, который выступает как носитель признака, выраженного семантическим предикатом» (Воронина, 1976: 2).

В специальной литературе выделяется несколько типов субъекта. Семантический субъект называют «агенсом», «первым актантом», «первым партиципантом» или «пациенсом» в зависимости от того, что выражает глагол (признак, свойство, состояние, процесс, событие, действие и т. п.). Например, при глаголе со значением действия субъект именуют «агенсом», при статальном, или стативном, глаголе субъект является «пациенсом» и т. д. Внутри этих семантических ролей выделяются также более мелкие разновидности субъектом; например, при глаголах со значением психической деятельности семантический субъект играет роль

«экспериенцера» (психологического субъекта), далее внутри данного субъекта выделяются дальнейшие подтипы (субъект поведения, субъект мысли, субъект эмоции, субъект говорения, субъект восприятия).

Средства репрезентации субъекта характеризуются различной уровневой стратификацией (лексические, морфологические, лексико-морфологические и др.), частотностью и т. п. Изменения в структуре предложения, связанные с вариативностью представления субъекта, часто носят характер стилистико-синтаксической правки. Грамматический субъект приближается к понятию «подлежащее», выполняет коммуникативную и структурную функции. Логический субъект выполняет референтную (денотативную) функцию, т. е. это предмет, о котором высказывается суждение.

Субъект при глаголах с антропоцентрической семантикой отличается от субъектов с предметной направленностью. С точки зрения логики субъект предстает как активный деятель, одушевленное лицо и носитель интеллектуального, эмоционального, поведенческого признака. Кроме того, субъект воспринимается как человек со своими взглядами на окружающий мир, мнением, внутренними переживаниями, способный воспринимать окружающее, мыслить, анализировать, вести себя каким-либо образом, а порой и терять способность осознавать происходящую ситуацию или утрачивать в памяти какие-либо сведения и информацию. Субъект и предикат взаимозависимы в смысловом отношении: думать, говорить, понимать, вести себя, радоваться или печалиться может лишь одушевленное лицо, но не предмет, явление или признак, следовательно, имеют место и семантические ограничения в логико-грамматическом и функциональном плане. В связи с такими требованиями лексического наполнения главных членов предложения позиция субъекта обычно заполняется именем одушевленного лица, способного совершать (или испытывать) какие-либо ментальные, поведенческие или эмоциональные действия, а сказуемое выражается глаголами, связанными с психической деятельностью лица. Однако бывают и исключения, вполне допустимы контексты, где какой-либо предмет, животное или явление наделяется человеческими чертами, обладает как бы интеллектуальной способностью, например: *Андағы тағлар алыптарның чааласханнарын оңнапчалар* – Те горы помнят войны богатырей. *Адайах киртінче, ээзі хайди даа айланар* – Собачка верит, (что) ее хозяин вернется обязательно. *Хайаа чапсынып, хыймырабин одырыбыссам, хустар мині тас тіп сағынарлар* (Ат, 163) – Если я буду сидеть, прильнув к скале, не шевелясь, то птицы подумают, что я камень.

Выявление основных средств репрезентации субъекта в конструкциях с глаголами психической деятельности хакасского языка связано с вопросами взаимодействия компонентов предложения на лексико-семантическом уровне. Позиция субъекта в конструкциях с глаголами психической деятельности обязательна. При общности таких признаков, как одушевленность, эмоциональность, сознательность, субъектам при глаголах со значением психической деятельности свойственны разные характеристики. Поэтому считаем, что целесообразно обозначить далее некоторую типологию субъектов в интересующих нас конструкциях.

Субъект ментальной деятельности. Субъект неотделим от ментального процесса, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. При этом, составляя одно целое, каждый выполняет свою роль, предназначенную только для него. «Субъект соотносит предложение с внешним миром, а предикат с миром понятий. Субъект указывает на нечто во внешнем мире – устанавливает референцию и одновременно выделяет это нечто – производит индивидуализацию. При этом предполагается, что функция референции и функция индивидуализации реализуется в субъекте одновременно» (Степанов, 1979: 336).

Формально в конструкциях с ментальными глаголами субъект представляется как термин логики, обозначающий лицо, которое воспроизводит процесс интеллектуальной деятельности и о котором выносится суждение. Таким образом, в процессе мыслительной деятельности основным исполнителем является субъект. Имена, выступающие в роли субъекта в подобных контекстах, наделены такими общекатегориальными семами, как «активный», «лицо»,

«живой», «экзистенциальность», «субстанция». Субъект при ментальных глаголах, способный к умозаключениям, активный, действующий, живой, является источником энергии, мысли и знания, от которого исходит ментальное действие (Чертыкова, 2015: 163).

Субъект эмоционального переживания. При глаголах эмоции субъект (носитель) эмоционального переживания обычно представляет собой лицо (или другие одушевленные существа: животные, звери, птицы), испытывающее эмоциональное состояние, или признак, выраженный эмотивным глаголом. Различные предметы и явления объективного мира по-разному воздействуют на сознательную сферу человека: радуют, огорчают, беспокоят, вдохновляют и т. д. Субъект хоть и осознанно переживает какие-либо эмоции, но не производит каких-либо волевых действий, проявление воли его может заключаться лишь в скрытии им своих эмоциональных переживаний. В определенные отрезки времени предметы и явления окружающей действительности или определенные ситуации, под воздействием которых субъект получает какие-либо переживания, становятся для него значимыми и охватывают все проявления его жизнедеятельности, а продолжительные чувства (любовь, ненависть) переживаются им в форме психических состояний. Эмоциональные переживания субъекта взаимосвязаны также с такими проявлениями механизма внутренней регуляции психической деятельности, как поведение, говорение, иногда и мышление. Например, под воздействием какого-либо эмоционального переживания субъект может ругаться, кричать или вести себя каким-либо образом (наглеть, безумствовать, дурачиться, приставать к кому-либо). Именно для обозначения таких субъектов в языках возникают специфические лексические группы (Каксин, 2007: 198).

Переживание каких-то эмоций может подвести субъекта к очень экспрессивному языковому выражению своего понимания ситуации. Существует также обратная связь: чужая речь или какие-то проявления поведения другого лица могут вызвать у субъекта определенные эмоциональные переживания. Глаголы со значением эмоции выражают, с одной стороны, процесс отношения субъекта к определенным явлениям действительности, ситуациям, к действиям других людей и т. д., с другой – его психологическое состояние и переживания в результате данного отношения.

Субъект поведения. В ситуации «поведение» присутствуют два участника: один – реальный субъект, совершающий поступок, второй – «заглазный» наблюдатель, оценивающий поступок первого с эмоциональной или социальной точки зрения. «Цель субъекта ситуации – совершить действие (квалифицируемое как поведение человека, некоторый поступок), цель наблюдателя – описать данное событие, а поскольку носителем события является глагол-предикат, то соответственно описать ситуацию, в которой данное событие происходит, а также оценить данную ситуацию, и в частности совокупность действий» (Спиридонова, 2008: 210). Третий основной компонент данной ситуации – это поступок, исходящий от субъекта и обозначенный соответствующим глаголом. В предложении позиция наблюдателя обычно имплицируется, отступает на второй план, а на первом остается сам субъект и его деятельность.

Субъект восприятия (перцепции). В роли субъекта зрительного (слухового, вкусового, обонятельного) восприятия могут выступать любые одушевленные существительные, субстантивированные причастия и заменяющие их местоимения. «Восприятие есть процесс взаимодействия субъекта с объектом, причем такого, при котором изменяется состояние различных систем человека, а объект остается неизменным. Так как это взаимодействие носит активный характер, то воспринимающего человека можно рассматривать как субъекта деятельности, учитывая специфику этой деятельности как субъекта восприятия. Восприятие с точки зрения деятельности можно также рассматривать как частный случай познавательной деятельности. Психологические аспекты субъекта познания охватывают проблемы сознания, чувственного познания и мышления (Ганзен, 1974).

С. А. Моисеева отмечает двойной характер глаголов восприятия: объективный и субъективный, так как субъект только «играет роль перцептора случайного перцептивного события, которое происходит без его ведома, и, таким образом, он безотчетно является локализатором

акта перцепции, одновременно оценивая и выявляя ситуацию, привнося в факт перцепции субъективный момент. Но из того факта, что перцептивное событие манифестируется, обнаруживая свою реальность, следует, что значение высказывания носит объективный характер» (Моисеева, 2005: 162–163).

К сказанному следует добавить, что в роли субъекта при глаголах восприятия могут выступать не только люди, но и животные, птицы, а также неживая природа. Если субъектом является человек, то процесс восприятия может взаимодействовать с процессами мышления, эмоции и поведения, поскольку в результате акта восприятия субъектом объектов действительности затрагиваются его мыслительные, чувствительные, а также поведенческие способности. В связи с этим акт восприятия (видения, чувствования каких-либо фрагментов реальной действительности) иногда может быть избирательным, субъективным в зависимости от интеллектуального или социального уровня субъекта: «…человек видит и слышит то, что хочет». М. С. Герасимчук при анализе ситуаций зрительного восприятия в текстах художественных произведений руководствуется фоновыми знаниями о субъекте восприятия, полученными ранее. «Играет роль не только физическая оценка субъектом объекта восприятия, но и культурные ценности, которые важны для субъекта, его национальное самосознание» (Герасимчук, 2014: 45).

Например, в смысловых структурах хакасских глаголов ***кӧр*** «смотреть», ***ис*** «слышать», ***чыстан*** «пахнуть, вонять» интегральная сема «характер субъекта» реализуется с помощью дифференциальных признаков «одушевленность», «конкретность», «пассивность». По признаку целенаправленности восприятия этим глаголам противопоставлены глаголы ***хара*** «выглядывать», ***тыңна*** «прислушиваться», ***чыста*** «нюхать, принюхиваться», при которых субъект обладает теми же признаками, однако здесь он не пассивен, а активен.

Субъект говорения. Мы используем термин «говорение» как вид речевой деятельности. Понятие речь включает в себя устную форму передачи информации (говорение) и письменную (письмо). Процесс говорения представляет высказывание активного субъекта, включающего передачу информации посредством движения речевого аппарата и звуков. Характер протекания высказывания может быть разнообразным по степени звуковой тональности (***сыбыхта*** «шептать», ***хысхыр*** «кричать», ***хырла*** «хрипеть»), информативной содержательности (***салыстыр*** «говорить вздор», ***хоптан*** «жаловаться», ***чойлан*** «врать»), внутреннему состоянию говорящего (***хырыс*** «ругать», ***чабаллан*** «браниться, гневаться»). Субъектом является говорящий, он осуществляет акт говорения: высказывает свои мысли, чувства, мнение, докладывает, утверждает, ругает, хвалит, задает вопрос и т. д., т. е. он информирует слушающих. При симметричных отношениях в процессе общения субъект и адресат меняются ролями (***хабарлас*** «беседовать», ***сӧклес*** «обзываться, браниться»).

Позицию субъекта в конструкциях рассматриваемых нами глаголов могут занимать следующие семантические типы имен: а) собственные имена; б) имена, обозначающие понятие «человек» (возраст, пол, род занятий, родственные отношения, социальное положение и т. д.); в) личные, указательные или неопределенные местоимения.

В предложении субъект, обладающий значением лица, обычно выступает как подлежащее. В хакасском языке имя, репрезентирующее роль субъекта, выступает в форме именительного падежа:

– *Чоохты алыстырарға кирек, – хабын салған Евсейка* (По, 98) – Надо менять тему разговора, – спохватился Евсейка.

Хотя личные местоимения активно занимают позицию субъекта, но местоимения 1-го и 2-го лица, как ед., так и мн. ч., имеют обыкновение выпадать из конструкции (лицо выражается в форме глагола). А местоимения 3-го лица, как ед., так и мн. ч., используются в позиции субъекта во избежание повторяемости имени. Но если отсутствует позиция субъекта с показателем 3-го лица, то здесь нужно говорить о выпадении позиции субъекта, выраженной именем, а не местоимениями 3-го лица.

В случаях, когда действующий субъект представлен формой местного падежа, наблюдается смысловое ограничение действия глагола. Субъектная позиция в форме местного падежа совмещает в себе значение действующего лица и значение обстоятельственного (пространственного) определителя, т. е. значение места или сферы, в котором субъект находится или с которым может быть так или иначе соотнесен или отождествлен. В качестве указателей локации могут выступать лексемы, называющие чаще всего постоянное место проживания, работы, долговременного нахождения субъекта. В хакасском языке субъект может выражаться формой местного падежа при глаголах со значением ментальной деятельности (***пӧк*** «решать», ***сана*** «считать», ***сағын*** в ЛСВ «считать», «скучать», ***сизін*** «замечать», ***киртін*** «верить», ***унду*** «забыть», ***сыныхта*** «проверять»), речевой деятельности (***махта*** «хвалить», ***амалла*** «уговаривать», ***сӧс пир*** «обещать», ***искір*** «сообщать» и др.). Примеры: *Чыылығда хоных сурығларын пӧккеннер* – На собрании решали бытовые вопросы. *Соян городта чада чат халғаннарны сағысха киргеннер* – В Саяногорске вспоминали павших на войне. *Аалда ол – хомай олғаннарның ойыны тіп санапчалар* (Кч, 41) – В деревне считают, что это – игра плохих детей. *Нинче хатап оолахты ибде часхарғаннар* – Сколько раз мальчика успокаивали дома. *Оолахты школада матап хырысханнар* – Мальчика сильно ругали в школе. В конструкциях глаголов со значениями эмоции, поведения, восприятия субъект не может выражаться именем в местном падеже, за исключением субъекта в конструкциях глаголов со значением беспокойства (***сағыссыра*** «переживать, беспокоиться», ***чӱрексі / чӱрексін/ чӱрексіре*** «волноваться») и т. д. *Ибде сағыссырапчалар* – Дома волнуются.

В предложениях глаголов со значением вызова позиция субъекта может выражаться именем в направительном падеже, которое обозначает место, куда вызывается объект воздействия. Это может быть (официальное) место, где работают люди. Под субъектом, выраженным направительным падежом, могут подразумеваться вышестоящие органы. *Николай Петровичті областьсар алдыртчалар* – Николая Петровича вызывают в область. *Сині институтсар хығыртчалар* – Тебя вызывают в институт. Аффикс страдательного залога в глаголах *-т-* указывает непосредственно на способ вызова: через кого-либо, через почту или по телефону.

Грамматический субъект, выраженный именем в местном или направительном падежах, становится исходным пунктом процесса, обозначаемого глаголом. Подобное перемещение субъекта можно объяснить законом языковой экономии, стремлением установить соответствие между субъектом и его местонахождением. Следует обратить внимание также на одну из важных особенностей репрезентации субъекта в местном или направительном падежах: в этом случае неопределенность действующего лица возводится в ещё более высокую степень. При сочетании с субъектом в форме пространственного распределителя глаголы принимают аффиксы множественного числа и 3-го лица, которые придают дополнительные значения неопределенности и стабильности лиц, находящихся в каком-либо пространстве. Например, из предложения *Аалда Карист айланмас тіп сағынғаннар* – В деревне считали, что Карис не вернется, мы понимаем, что субъектами мнения о невозвращении Кариса являются люди, проживающие в деревне. Показатель множественного числа и 3-го лица ***-нар*** глагола ***сағын*** в ЛСВ «считать» показывает множественность и неопределенность лиц, занимающих субъектную позицию, а распространитель ***аалда*** «в деревне» указывает на место, с которым субъект идентифицируется. В подобных предложениях глаголы всегда принимают аффикс множественного числа, который частично принимает на себя функцию субъекта, т. е. указывает на неопределенное количество действующих лиц. Однако если глагол употребляется во 2-м или 3-м лице, то локативный конкретизатор переходит на периферию поля субъектности и в качестве второстепенного члена предложения обозначает место нахождения субъекта. *Аалда Карист айланмас тіп сағынғабыс* – В деревне [мы] считали, что Карис не вернется или же *Аалда Карист айланмас тіп сағыныңар* – В деревне [вы] считайте, что Карис не вернется. Как видим,

в подобных предложениях субъект может не получать выражения, но сохраняется его принадлежность к лицу. Такие предложения считаются бессубъектными, однако семантически подразумевается их наличие, и они получают отражение в личных аффиксах сказуемого-глагола, указывающих на определенный субъект. Подобные предложения, формально считающиеся односоставными, семантически являются полноценными и завершенными. Такое скрытое в личных аффиксах присутствие субъекта отмечается и в других тюркских языках, например в карачаево-балкарском (Мамаева, 2005: 10).

Примеры: *Пістең артых тоғынар кізі чоғыл тіп сағын чӧрчеңміс* (О, 47) – Никто не может работать лучше нас, – думали [мы]. *Ам на сағысха кир тур ниме пол парғанын* (Хп, 48) – Только сейчас стал вспоминать, что случилось. *Аннаң сығара чуртас чахсыдаң чахсы ла полып одырғаныннауар чоохтап сыххан* – С тех пор [он] стал рассказывать, что жизнь становится все лучше и лучше. *Хайди оңнабинчазың, пілбес полғазың ма*? (Хч, 3) – Как не помнишь, чересчур пьяный был что ли? В подобных предложениях грамматический субъект имплицитно выражен показателем 2-го, 2-го или 3-го лица.

Глаголы с эмоционально-психической семантикой часто организуют неопределенно-личные конструкции, семантическая структура которых сводится к побуждению к какому-либо действию (советы, поучения, наставления, призыв). Примеры: *Пастап сағынып ал, анаң чоохтан* – Сначала подумай, потом говори. *А. П. Чеховтың «Сибирьдең» тіп очеркін хатап хығыр* (Кч, 6) – Читай снова очерк А. П. Чехова «Из Сибири». *Ол халған истең көгенек тігерге чарадыңар* (По, 49) – Разрешите сшить платье из тех остатков ткани. *Пурунғы тархынның өӧн сурығларын ӱгрен* (Хчк, 64) – Изучай основные вопросы древней истории. *Кил, азыран* – Иди, кушай. *Палаларны чахсы кӧр* – Хорошо смотри за детьми. Субъект в подобных предложениях представлен имплицитно и подсказывается нулевой формой глагола. О присутствии «невидимого» субъекта сигнализирует форма 2-го лица единственного (или множественного) числа глагола в побудительном наклонении. «Глагольные формы 2 л., употребленные независимо, способствуют отрыву выражаемого признака от конкретного субъекта и представлению его как универсального, соотносимого с любым субъектом» (Лекант, 1969: 200). Подобной формой высказывания обычно характеризуются пословицы и поговорки. Поскольку основной целью таких высказываний являются поучение, советы, наставления, то формирование подобных предложений глаголами с отрицательной семантикой логически не проходит, например глаголами со значением поведения, большинство которых выражают отрицательное поведение.

Иногда в качестве субъекта может выступать субстантивированное причастие, представленное формой именительного падежа, как ед., так и мн. ч. *Чоннаң чарылған хара халғыс чуртаста ырыс оңнабас* – Отколовшийся от народа не познает счастья в одинокой жизни. *Чаадаң тискеннер хай пірее тоғысха кіріп аларға сағыс тутчалар* – Беженцы (букв. убежавшие от войны) намереваются устроиться на какую-либо работу. Такая форма обозначения субъекта, на наш взгляд, дает более подробную характеристику субъекта.

Следует отметить, что позиция субъекта в конструкциях имеет обыкновение выпадать, но легко восстанавливается из предыдущих предложений и определяется из контекста. Цель такого выпадения сводится к тому, что в данной конструкции главная мысль сосредоточена в сказуемом, «а предложение с опущенным подлежащим включалось бы в текст как непосредственное продолжение предшествующего суждения» (Хазраткулов, 1964: 76). На наш взгляд, автор допускает отсутствие позиции субъекта во избежание повторяемости, так как обычно конструкция с нулевой позицией субъекта представляет собой фрагмент более обширного описания данного персонажа в нескольких предложениях или даже целом абзаце. При этом в таких конструкциях под отсутствующим субъектом воспринимается только конкретное лицо с определенным именем. Но ни в коем случае эта нулевая позиция субъекта не подразумевает личное местоимение или термины, обозначающие понятие «человек». Например, *Пурбачахты*

тохтадып алып, тылаастар сураглаан: – Хайдар парчазың? Ноо киреккнең? (Кх, 47) – Остановив Пурбачаха, расспрашивал новости: – Куда идешь? По каким делам? Из этого предложения мы знаем, что здесь в роли субъекта выступает именно *Сакис*, а не *он*, или *мужчина*, или *дезертир* (Чертыкова, 2005: 149].

Таким образом, субъект является основным и полифункциональным компонентом семантической структуры предложения, коррелирующим с глаголами психической деятельности. Отмечаем следующие важные особенности позиции субъекта: 1) субъект – это одушевленное лицо, проявляющий себя как мыслящий, высказывающийся, переживающий какие-либо эмоции, воспринимающий органами чувств явления внешнего и внутреннего мира индивид; 2) в предложении позиция субъекта чаще заполняется именем в именительном падеже и соотносится с подлежащим; 3) в конструкциях некоторых глаголов со значением ментальной, речевой и поведенческой деятельности субъект, выраженный именем в форме местного падежа, имеет пространственное значение, при сочетании с ним глагол всегда имеет аффикс множественного числа, частично принимающий на себя функцию субъекта, т. е. указывает на неопределенное множество лиц; 4) в неопределенно-личных предложениях, смысл которых сводится к побуждению к какому-либо действию (советы, поучения, наставления, призыв), позиция субъекта, выраженная подлежащим, может отсутствовать, но из актуального смысла предложения легко восстанавливается.

Список литературы

Арутюнова Н. Д. Семантическая структура и функции субъекта // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1979. Т. 38, 4. С. 323–334.

Абдуразаков М. А. Семантические типы субъектов. Ташкент, 1991. 103 с.

Воронина Д. Д. О функции и значении семантического субъекта в строе русского предложения: автореф. дис. … канд. филол. наук М., 1976. 24 с.

Ганзен В. А. Восприятие целостных объектов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974–2007. URL: http://ddong.narod.ru/ganzen/index.htm от 12.02.2015.

Герасимчук М. С. Объект-ситуация в когнитивной модели зрительного восприятия в рассказах Бориса Екимова (Циклы «Память лета» и «Житейские истории») // Уральский филологический вестник. Серия: Психолингвистика в образовании. 2014. № 2. С. 44–49.

Каксин А. Д. Об одной специфической лексической группе в хантыйском языке // Духовная культура финно-угорских народов России: материалы Всерос. науч. конф. к 80-летию Анатолия Константиновича Микушева (1–3 ноября 2006 г., г. Сыктывкар). Сыктывкар, 2007. С. 198–200.

Моисеева С. А. Семантическое поле глаголов восприятия в западно-романских языках. Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. 264 с.

Мамаева Ф. Т. Способы выражения субъекта и семантическая структура простого предложения в карачаево-балкарском языке: автореф. дис. канд. филол. наук. Нальчик, 2005. 17 с.

Лекант П. А. К вопросу о синтаксическом субъекте // Вопросы филологии. 1969. Б.н. С. 197–204.

Степанов Ю. С. Иерархия имен и ранги субъектов // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1979. Т. 38, 4. С. 333–348.

Спиридонова Ю. А. Английские глаголы поведения: валентностный анализ // Изв. Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. С-Петербург.

Хазраткулов А. Употребление неполных предложений в узбекском языке // Ученые записки. Серия русской филологии. Вып. 14. Карши, 1964. С. 75–80.

Чертыкова М. Д. Глаголы говорения в хакасском языке (системно-семантический аспект). Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2005. 180 с.

Чертыкова М. Д. Средства репрезентации субъекта в конструкциях с ментальными глаголами в хакасском языке // Вестник ВЭГУ. 2015. № 2 (76). С.158–164.

Список источников иллюстративного материала

Ат – Татарова В. Аат табызы. Повесть. Ағбан, 1991.

По – Писательлер – олғаннарға. Көглер, чоохтар, нымахтар. Ағбан, 1988. 278 с.
Кх – Нербышев К. Көгім хорымнарда. Роман. Абакан, 1983. 243 с.
О – Балтыжаков Т. Орис. Ағбан, 1975.
Хп – Хара паар. Нымахтар. Ағбан, 1985.
Хч – Кобяков В. Топанов А. Хызыл чазы. Абакан, 1982. 86 с.
Хчк – Хакас чирінің кізілері. Очерктер. Ағбан, 1985.

Чертыкова М. Д., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник.
Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии им. Н. Ф. Катанова Хакасского государственного университета.
Ул. Ленина, 90, Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017.
E-mail: chertikova@yandex.ru

Материал поступил 06.06.2015

Chertykova M. D.

MEANS OF EXPRESSION OF THE SUBJECT IN CLAUSES WITH VERBS OF MENTAL ACTIVITY IN THE KHAKASS LANGUAGE

The article deals with the identification and description of the basic means that represent a subject in verbal constructions of mental activity in the Khakass language. The authors give semantic characteristic of subjects that agree with the verbs of particular semantics and analyzes the most important semantic roles of the subject in theses verbal constructions. The functions and the names of these roles are determined by paradigmatic and sintagmatic specifics of the syntactic constructions of the analyzed language. In all the cases explicating intellectual activity, emotional experience, behavior, perception, speaking the subject is characterized as an animate, active figure with mental (anthropological) features.

In the Khakass language the name representing the subject is most often acts in the form of the Nominative case (and this is basically a proper name): *Чоохты алыстырарға кирек, – хабын салған Евсейка* ‘It is necessary to change a topic of conversation, – said Evseyka’. Though personal pronouns take actively the position of the subject, first and second person pronouns, singular and plural, are not used in the constructions (the category of person is expressed by the verb). Third person pronouns are often used in the position of the subject's not to repeat the name. The name of the subject in the Khakass language can be also expressed by Locative case and Directive case. *Оолахты школада матап хырысханнар* ‘The boy was strongly criticized at school’. Both cases have principles of semantic restriction of the verbs according to the expressed action. The subject in the Directive case may denote organizations and establishments: *Сині институтсар хығыртчалар* ‘You are called for to the institute’. The article concludes about the form of the subject and the features of the syntactic constructions with the subject name agreeing with the verbs of mental activity.

References

Arutyunova N. D. Semanticheskaya struktura i funktsii sub"ekta [Semantic Structure and Functions of Subject]. *Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka*. 1979, vol. 38, pp. 323–334 (in Russian).
Abdurazakov M. A. Semanticheskie tipy sub"ektov [Semantic types of Subjects]. Tashkent, 1991. 103 p. (in Russian).
Chertykova M. D. Glagoly govoreniya v xakasskom yazyke (sistemno-semanticheskij aspekt) [Communication verbs in Khakass (systemic-semantic aspect)]. Abakan, Xakasskoe knizhnoe izd-vo Publ., 2005. 180 p. (in Russian).
Kaksin A. D. Ob odnoy specificheskoy leksicheskoy gruppe v xantyyskom yazyke. *Duxovnaya kul'tura finno-ugorskix narodov Rossii: Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii k 80-letiyu Anatoliya Konstantinovicha Mikusheva* [On a specific lexical group in Khanty language. In: Spiritual culture of Finno-Ugric people of Russia: Proceedings of all-Russian academic conference on anniversary of Analtoly Mikushev (1-3 noyabrya 2006 g., g. Syktyvkar)]. Syktyvkar, 2007. Pp. 198–200 (in Russian).
Chertykova M. D. Sredstva reprezentacii sub"ekta v konstruktsiyakh s mental'nymi glagolami v xakasskom yazyke [Means of representation of subject in constructions with mental verbs in Khakass]. *Vestnik VE'GU – VEGU Bulletin*, 2015, no. 2 (76), pp.158–164 (in Russian).

Ganzen V. A. Vospriyatie celostnyx ob"ektov [Perception of holistic objects]. Leningrad, Izd-vo Leningradskogo un-ta Publ., 1974–2007. URL: http://ddong.narod.ru/ganzen/index.htm ot 12.02.2015. (in Russian).
Gerasimchuk M. S. Ob"ekt-situaciya v kognitivnoy modeli zritel'nogo vospriyatiya v rasskazax Borisa Ekimova (Cikly «Pamyat' leta» i «Zhiteyskieistorii») [Situation-object in the cognitive model of visual perception in the works by Boris Ekimov (series “Memories of the Summer” and “Life stories”)]. *Ural'skiy filologicheskiy vestnik. Seriya Psixolingvistika v obrazovanii,* 2014, no. 2, pp. 44–49 (in Russian).
Moiseeva S. A. Semanticheskoe pole glagolov vospriyatiya v zapadno-romanskikh yazykakh [Semantic field of perception verbs in Western-Romans languages]. Belgorod, Izd-vo BelGU Publ., 2005. 264 p. (in Russian).
Mamaeva F. T. Sposoby vyrazheniya sub"ekta i semanticheskaya struktura prostogo predlozheniya v karachaevo-balkarskom yazyke: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Means of coding subject and syntactic structure of simple clause in Karachay-Cherkess. Abstract of thesis cand. of filol. sci.]. Nal'chik, 2005. 17 p. (in Russian).
Lekant P. A. K voprosu o sintaksicheskom sub"ekte [On the syntactic subject]. *Voprosy filologii – Fhilologi Questions*, 1969, pp. 197–204 (in Russian).
Spiridonova Yu. A. Angliyskie glagoly povedeniya: valentnostnyy analiz [English verbs of behavior: valence analysis]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena,* 2008, no. 54, pp. 207–213 (in Russian).
Stepanov Yu. S. Ierarxiya imen i rangi sub"ektov [Nominal hierarchy and subject ranking]. *Izvestiya AN SSSR, Seriya literatury i yazyka*, 1979, vol. 38, 4, pp. 335–348.
Voronina D. D. O funkcii i znachenii semanticheskogo sub"ekta v stroe russkogo predlozheniya: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [On function and meaning of semantic subject in Russian syntax. Abstract of thesis cand. of filol. sci.]. Moscow, 1976. 24 p.
Khazratkulov A. Upotreblenie nepolnyx predlozheniy v uzbekskom yazyke [Usage of elliptical clauses in Uzbek]. *Uchenye zapiski. Seriya russkoy filologii*. Karshi, 1964. N 14. Pp. 75–80 (in Russian).

Chertykova M. D.
Institute of Humanitarian Researches and the Sayan-Altai Turkology
of Katanov Khakass State University.
Ul. Lenina, 90, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017.
E-mail: chertikova@yandex.ru

Каксин А. Д.

О ТАБУ И ПОДСТАВНЫХ НАЗВАНИЯХ В ХАНТЫЙСКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ

Проводится сопоставление между табу (и табуированными словами) в языках коренных народов Сибири. Для сравнения привлекается материал двух сибирских языков – хантыйского и хакасского. Это сопоставление свидетельствует об одинаковом подходе к отражению окружающей действительности, но различии в самих фрагментах лексических систем двух языков. Эта разница объясняется в основном тем, что данный фрагмент появился в языках народов, живших и живущих в разных географических условиях. Главная линия сравнения: «медвежий язык» и табуированные слова в составе хантыйского языка и «подставные слова» хакасского языка (функционирующие в основном в сфере лексики охотничьего промысла). При этом табу анализируется как запрет, связанный с магической функцией языка (речи), как явление, характерное для языков, сохраняющих лексику архаичной культуры. Из числа табуированных слов рассматриваются только те, что употребляются вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся неуместными на охоте и в разговоре об охоте, о поведении в «охотничьем ландшафте». В культуре ханты большое значение имеет культ медведя и комплекс мифов и обрядов, называемый «медвежий праздник» или «медвежьи игрища». Лексику, связанную с этим культом, мы и называем собственно табу. Но бывают в языках (в нашем случае – хантыйском и хакасском) и просто табуированные слова, или подставные названия, употребляемые вместо обычных слов лицами, причастными к сфере тайного, запретного, специфического (промысла).

Ключевые слова: *табу, табуированные слова, фрагмент лексической системы, хантыйский язык, хакасский язык.*

Словесное табу как явление в достаточной степени изучено; в самых разных языках обнаружены и описаны фрагменты, связанные с запретом на употребление тех или иных слов и выражений (Зеленин, 1929; Мусабаев, 1959; Джаббаров, 1972; Циртаутас, 1976; Яимова, 1985; Боргояков, 2001; Фрэзер, 2006; Акбаров, 2011).

Во многих работах, посвященных табу, подчеркивается его связь «с магической функцией языка (речи), т. е. с верой в возможность непосредственного воздействия на окружающий мир при помощи языка» (Леонтьев, 1990).

Таким образом, экстралингвистическая основа интересна сама по себе: понятно, что только от надежных этнографических описаний можно перейти к собственно лингвистике. В этой связи относительно ханты можно сказать, что описаний сферы табу этого народа очень много; для примера укажем только несколько работ общего характера: (Соколова, 1982; Кулемзин, 1984; Лукина, 1990; Головнев, 1995; Молданов, 1999; Медведь в культуре обско-угорских народов, 2002; Адаев, 2007; Рязанова-Даури, 2011; Bakró-Nagy, 1979).

Эти и целый ряд других источников названы в одной из последних работ на эту тему – в статье о васюганских ханты (Надь, 2015), в которой детально рассмотрены все аспекты взаимоотношений человека-ханты и медведя, и здесь приведем лишь один из основополагающих тезисов автора статьи – известного венгерского исследователя: «Взаимоотношения медведя и человека в основе своей иерархичны, и эта рефлексированная иерархия проявляется в чувстве страха. В этой иерархии медведь стоит выше человека прежде всего благодаря преимуществу в физической силе… От медведя нельзя убежать, потому что он быстрее; от него нельзя уплыть, так как он плавает лучше, чем человек; нельзя залезть на дерево, чтобы спастись от медведя, так как он взбирается вверх более ловко» (Надь, 2015: 63–640).

Можно предполагать, что обнаружение табу в том или ином языке связано с наличием в культуре народа особых отношений с каким-либо представителем животного мира, который вызывает страх. Дальнейшее распространение этого явления – появление большого по объему

разряда табуированных слов – также предсказуемо, такая лексическая группа складывается во всех языках, а различие в конкретном выражении объясняется разными условиями и способами какого-то важного, особого вида деятельности этноса, в основном – охоты. Выдающийся финно-угровед В. Штейниц писал, что представляет большой интерес охотничий язык ханты (остяков). «При охоте на некоторых диких зверей, а именно на медведя, волка, лося и бобра, нельзя употреблять обыкновенные названия для них или частей их тела, так как на них наложено табу; в этих случаях употребляются специальные термины. Особенно богат так называемый "медвежий язык" (voj jasaŋ 'зверя язык'), в словарь которого входят около 100 слов, обозначающих не только самого медведя и части его тела, а также почти все предметы и действия, связанные с охотой на него тем или иным образом. В большинстве своем "медвежьи слова" носят описательный характер» (Штейниц, 1937: 225).

Далее в рассматриваемом очерке для примера приводятся некоторые слова «медвежьего языка», и мы их тоже все перечислим. При этом будем следовать схеме: что обозначается ~ *слово медвежьего языка* 'его значение в обычном языке'. Итак, нос медведя ~ *χašŋa* 'муравей', лоб медведя ~ *saŋχut* 'гора', голова медведя ~ *woš* 'город', кишка медведя ~ *tińśaŋ* 'аркан', ружье ~ *sijŋ ut* 'шумное нечто', лук ~ *kŭsi* 'обруч', ложка ~ *saw* 'сорока', лошадь ~ *warsaŋ* 'волосатая', щука ~ *tijaŋ ńuł* 'острый нос', есть (про медведя и охотника) – *wońśti* 'собирать'.

Возникновение этого специального «медвежьего языка» естественно связывать с выработанным ханты (совместно с родственными манси) и хорошо фиксировавшимся еще в середине прошлого века культом медведя (Чернецов, 2001: 3–4; Адаев, 2004: 15).

Упоминания о табу и табуированных словах в хантыйском языке встречаются в работах всех дореволюционных ученых; здесь приведем выдержки из работ К. Ф. Карьялайнена и А. А. Дунина-Горкавича.

«В остяцком на диалектах и сейчас встречаются устаревшие корни jem и pas, которые, вероятно, обозначают *неприкосновенность*, *не нарушение* существа или вещи, т. е. "святость" его по отношению к каким-либо другим или всем другим существам и вещам… В настоящее время остяк понимает под jem (это слово более принято, чем pəs) все, что противоречит религиозным обычаям и установлениям, т. е. "недозволенное", и переводит эти слова, если он их вообще знает, на русский язык как 'грех'; это значение развилось из более раннего: прикоснуться к неприкосновенному, нарушить ненарушаемое есть jem, pəs 'грех'; посредниками в этом переходе значений были, очевидно, выражения, содержащие запреты и предостережения» (Карьялайнен, 1995: 66).

В первом томе своего труда, вышедшем в 1904 г., А. А. Дунин-Горкавич посвящает специальный раздел описанию образа жизни инородцев Тобольского Севера и в том числе пишет о воззрениях остяков на медведя следующее (цитата оформлена в современной графике): «Медведь, как сын божий, все знает, а поэтому остяки в разных житейских случаях, где по их обычаям необходимы клятвы, произносят таковые на голове и лапе медведя. Ложно поклявшийся, неправый человек всегда попадается медведю. Но, несмотря на все это, бог велел человеку бить медведя» (Дунин-Горкавич, 1995: 94).

Медведя можно убивать, но на него не охотятся специально; напротив, встречи с медведем стараются избегать, его боятся, и, как следствие этого, возникает культ медведя, после «нечаянной добычи» / убийства зверя проводится так называемый медвежий праздник. Основу всех речей и песнопений, связанных с медведем, составляет особая лексика – табу. Отношение к другим зверям несколько иное. Они не вызывают панический страх, на них ведется охота, после их добычи не устраивается священный ритуал, они не становятся объектом религиозного культа для всего народа. Конечно, события, связанные с охотой, часто сопровождаются обрядом, но мотивировка совсем другая: в отличие от «медвежьего праздника», на котором одновременно замаливается грех и возносится хвала, воздаются почести медведю (как брату человека), обряд, связанный с охотничьим или рыбным промыслом, совершается до его начала. И во время его проведения духам данного места даётся угощение, приносится жертва.

«Приглашая местное божество принять его угощение, инородец в то же время просит его дать ему хороший и удачный промысел на этом месте. Кондинские остяки, кроме животных, приносят в жертву и птиц (напр. петуха)» (Дунин-Горкавич, 1996: 57).

Таким образом, имеется только один «общий момент»: при упоминании о некоторых животных (и в целом в разговорах на охоте) широко употребляются слова-заместители. Их мы и называем подставными названиями, или табуированными словами.

У хакасов нет культа медведя, но все же и в хакасском языке возник круг слов, составляющих специальный охотничий язык. Этот язык в свою очередь неразрывно связан с тем образом жизни, который вели хакасы-охотники. Вот, например, что пишет об охоте хакасов известный этнограф К. М. Патачаков: «Основными видами техники, которыми пользовались хакасские звероловы с давних времен для добычи зверей, были различные ловушки своеобразной конструкции, загороди, петли и сети. Позже появились кремневые ружья и капканы. …На каждый вид зверя существовали своеобразные приёмы». Характерные способы охоты существовали на медведя, марала, лося, рысь, соболя, выдру, белку, волка (Патачаков, 2006: 10, 13–21].

Каковы бы ни были приемы охоты, все они сопровождались исполнением охотничьих религиозных обрядов. «При тогдашней примитивной технике охоты слабо вооруженный охотник, часто подвергавшийся случайностям стихии природы, нередко голодный, в поисках зверя попадал во власть созданных его воображением сверхъестественных существ» (Патачаков, 2006: 21).

Соответственно, мы видим здесь ситуацию, во многом аналогичную описанной выше (т. е. у ханты), с той лишь разницей, что источником страха не является реальный зверь – медведь. Но в любом случае и для хакасского языка (или, лучше сказать, для предшествовавших ему тюркских диалектов) можно фиксировать важный момент появления табу и табуированных слов – они появляются вследствие наличия системы запретов и осознания непосредственной связи между предметом (некой сущностью, субстанцией) и словом: «В традиционном мировоззрении, в соответствии со всем его духом, каждое слово имеет душу. Неверное использование слов могло караться сöс ээзі (хозяином слова), поэтому отношение к родному языку было особенно бережное, осторожное» (Анжиганова, 1997: 122).

А вот что важно с точки зрения языковеда: «В истории тюркских языков Южной Сибири большую роль играли охотничьи запреты (табу) и применение замещающих прямые переносных, метафорических названий (эвфемизмов). Со временем эвфемизмы могут вытеснять из употребления прямые (первичные) названия, как это произошло, например, с названиями: соболя – совр. региональное саяно-алтайское албыга, с вероятной внутренней формой “добыча”, полностью заменило старое общетюркское киш ~ тс, которое сохранилось только в словосочетании тс тон ‘соболиная шуба’; медведя – старое общетюркское азыг сохраняется в периферийном шорском диалекте, во всех остальных хакасских диалектах оно заместилось эвфемизмом аба “отец, дед”, и даже в шорском теперь более распространено аба» (Боргояков, 200: 20).

Итак, нас интересует общее и отличительное между двумя системами (в двух языках) в лингвистическом смысле. Общее заключается в том, что в обоих случаях просматривается основной принцип или, иначе, вполне определенная тенденция языка: заменять одни слова (или выражения) другими. Очевидно, что иерархию подходящих под этой случай единиц языка можно выстроить в зависимости от степени *сакральности* или в направлении от высокого стиля к низкому. Соответственно, можно предложить следующую градацию: собственно табу – табуированные слова (подставные названия). К числу последних относятся подставные названия в хакасском языке. «Медвежий язык» в составе хантыйского языка может служить ярким примером формирования собственно табу. Часть так называемых подставных названий хакасского языка сближается с табуированными словами, другая часть – с описательными образными оборотами, но все же мы согласны с их объединением в отдельную, самостоятельную

группу, поскольку они осознаются в качестве связанных с табу именно в составе данной микрогруппы (Патачаков, 2006: 28–29).

Как можно видеть из разных источников по хакасскому языку, почтительное отношение выражается не только медведю, но и волку (хотя это другая почтительность). Кроме чисто описательных выражений, приводимых в брошюре (Патачаков, 2006), с образом волка как свирепого безжалостного хищника связано образование многих сравнительных оборотов, пословиц и поговорок, содержащих указание на упомянутые «отрицательные» признаки зверя:

Пӱӱр волк: …**пӱӱр хылыхтығ кізі** жестокий, свирепый человек; **пӱӱр чарымы** негодяй, подлец (*букв*. волка половина); **пӱӱр чох тағ чоғыл, чабалы чох чон чоғыл** *погов*. нет гор без волка, нет народа без дурного; **пӱӱр – чир хулахтығ** *погов*. и стены имеют уши (*букв*. волк имеет земляные уши) (ХРС, 2006: 408).

Очевидно, что описательными образными оборотами следует признать следующие слова из списка К. М. Патачакова (они обозначают домашних животных и людей): узун азах ‘длинноногий’ (конь), чызығ пурун ‘гнилой нос’ (корова), маарас ‘блеющая’ (овца), узун сас ‘длинноволосый’ (поп), пас пулғас ‘головомахатель’ (шаман) (Патачаков, 2006: 28–29).

Тӱксек: **ахсах-тӱксек** *собир*. всякие хромые и покалеченные (*о скоте*); **ахсах-тӱксек мал** хромой и покалеченный скот (ХРС, 2006: 690).

Слов хакасского языка, претендующих на то, чтобы быть зачисленными в разряд табу, очень мало. Считаем, что самым «близким к табу» можно считать только одно: ағаң ‘дедушка твой’ (медведь). И слово *улаба* ‘дедушка’ (медведь), видимо, тоже должно проходить по разряду табуированных названий (и лишь в определенных контекстах – табу). Все остальные, о которых написано у известного этнографа – знатока охоты, представляются табуированными словами охотничьего языка хакасов: сӧӧк пас ‘костяная голова’ (белка), саарасхыр ‘соловый жеребец’ (колонок), чирік пурун ‘раздвоенный нос’ (заяц), сазах оды ‘пахучее курево’ (табак), кистіг ‘резак’ (нож), сапачах ‘топор’ (топор), атынчаң ‘то, чем стреляют’ (ружье), тоғлах ‘круглый’ (пуля), піденген ‘замаранная’ (собака), хызарған ‘краснеющее’ (мясо), типсечең ‘то, что топчут’ (зола), сарығмай ‘желтеющий’ (дрова), хахтығ ‘таган’ (таған) (Патачаков, 2006: 28–29).

Правда, в словаре в качестве табу приводится ещё выражение, связанное с лисой: **тӱлгӱчек ойнабызар** *табу* лисичка искалечит (съест) (ХРС, 2006: 691), но его, на наш взгляд, следует считать образным выражением или даже игрой в слова. В этом нет ничего особенного: часто в самых разных языках обыгрываются названия растений, животных, числа и другие символические «предметы» (Муратова, 2012: 152–153; Крюкова, 2014).

Определенно, что сфера собственно табу в хакасском языке есть. Она представлена не столь богато, как в хантыйском языке, но выделяется вполне явно, в виде части слов охотничьего языка и некоторых других слов. Вполне возможно её реконструировать. Отдельные фрагменты лексики языка могут опираться как на обыденное, «повседневное» человеческое сознание, так и на виртуальное, одним из которых является сакральное, мифологическое сознание. Можно предполагать, что и в хакасском языке достаточно отчетливо проявляется специфика формирования картины мира как мировоззренческого феномена, хотя, возможно, культура народа, говорящего на этом языке, не представляет тип «культур, сохраняющих в активе многие архаические элементы до настоящего времени» (Пушкарева. 2003: 45).

Итак, в контексте сравнения языковых картин мира адекватным представляется вывод о том, что охотничьи табу хакасского языка занимают промежуточное положение между «медвежьим языком» хантыйского языка и табу и эвфемизмами в языках многих современных народов, далеко ушедших от архаики в своей культуре. Другой вывод сводится к тому, что в области междисциплинарных исследований (в нашем случае – на стыке лингвистики и этнографии) важно правильно оценивать соотношение мифологического сознания и обыденного, прагматичного сознания в формировании отдельных фрагментов национальной языковой картины мира.

В табу и эвфемизмах наиболее концентрированно выражаются представления о запретном (или непубличном) для данного этноса. Разница между двумя явлениями в научной литературе формулировалась примерно так: табу возникло в древних обществах из-за страха называть предметы, связанные с охотой, или другие сакральные объекты («обход» запрета достигается с помощью замены одних слов другими), а эвфемизмы возникли в «новое время» и в основном представляют собой обороты, с помощью которых говорящий в завуалированной форме «подает» тему, на которую, как ему кажется, неудобно говорить в открытую в данной ситуации.

Отношения человека, животных и ландшафта специфически отражаются в языковой картине мира разных народов. Наиболее ярко, вербально указанные отношения проявляются в таких языковых единицах и синтагмах, как табу, эвфемизмы, сравнения с животными, оценочные слова и словосочетания, фразеологизмы, поговорки и пословицы. И, по нашему убеждению, эту своеобразную типологию языковых единиц и синтагм, актуальных в аспекте соотнесения человека с окружающим его миром, словесные табу и эвфемизмы, действительно, могут и должны начинать: они первыми приходят на ум, если мы хотим выстроить ряд сегментов языковой картины мира, производных от национального менталитета.

Список литературы

Адаев В. Н. Традиционная экологическая культура хантов и ненцев Западной Сибири: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2004. 17 с.

Акбаров А. А. Табу и эвфемизмы в таджикском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Худжанд, 2011. 20 с.

Анжиганова Л. В. Традиционное мировоззрение хакасов: Опыт реконструкции. Абакан, 1997. 128 с.

Боргояков В. А. Лексика охоты и рыболовства в диалектах хакасского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2001. 24 с.

Грамматика хакасского языка / под ред. Н. А. Баскакова. М.: Наука, 1975. 418 с.

Джаббаров Х. М. Табу и эвфемизмы в азербайджанском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Баку, 1972. 27 с.

Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: в 3 т. Т. 1: Общий обзор страны, её естественных богатств и промышленной деятельности населения. М.: Либерея, 1995. 376 с.: ил.

Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: в 3 т. Т. 3: Этнографический очерк местных инородцев. М.: Либерея, 1996. 208 с.: ил.

Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сб. Музея антропологии и этнографии. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. Т. VIII. 151 с.

Карьялайнен К. Ф. Религия югорских народов. Т. 2 / пер. с нем. и публ. д-ра ист. наук Н. В. Лукиной. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1995. 284 с.

Крюкова Е. А. Числа, с которыми играют люди: числительные в контексте устного творчества кетов // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Antropologi). 2014. Вып. 3 (5). С. 9–16.

Кулемзин В. М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. 192 с.

Леонтьев А. А. Табу // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 501.

Лукина Н. В. Общее и особенное в культе медведя у обских угров // Обряды народов Западной Сибири. Томск, 1990. С. 179–191.

Медведь в культуре обско-угорских народов // Материалы V Югорских чтений: сб. науч. ст. / под ред. Т. А. Молдановой, А. Д. Каксина. Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. 145 с.

Молданов Т. А. Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных хантов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. 139 с.

Муратова Р. Т. Символика чисел в языке и культуре башкир / Институт истории, языка и литературы Уфимского НЦ РАН. Уфа, 2012. 180 с.

Мусабаев Г. Г. Современный казахский язык. I: Лексика / Институт языка и литературы АН Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1959. 141 с.

Надь З. «Все боятся медведя». Страх медведя на Васюгане в Сибири // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropologi). 2015. Вып. 1 (7). С. 58–81.
Патачаков К. М. Некоторые сведения об охоте хакасов // Рукописное наследие Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Абакан, 2006. Вып. 1. 38 с.
Пушкарева Е. Т. Картина мира в фольклоре и традиционных представлениях ненцев: системно-феноменологический анализ: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2003. 45 с.
Рязанова-Даури В. С. Нравы и обычаи в повседневной культуре хантов и манси: дис. … канд. культурол. СПб., 2011. 158 с.
Соколова З. П. Путешествие в Югру. М.: Мысль, 1982. 176 с.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Эксмо, 2006. 960 с.
Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сöстік / О. П. Анжиганова, Н. А. Баскаков, М. И. Боргояков, А. И. Инкижекова-Грекул, Д. Ф. Патачакова, О. В. Субракова, П. Е. Белоглазов [и др.]. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.
Циртаутас И. К. К вопросу о табу и эвфемизмах в казахском, киргизском и узбекском языках // Советская тюркология. 1976. № 4. С. 23–31.
Чернецов В. Н. Медвежий праздник у обских угров / пер. с нем. и публ. Н. В. Лукиной. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001. 50 с.
Штейниц В. К. Хантыйский (остяцкий) язык // Языки и письменность народов Севера. Л.: Учпедгиз, 1937. Ч. I. С. 193–227.
Яимова Н. А. Табуированная лексика и эвфемизмы в алтайском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1985. 22 с.
Bakró-Nagy M. Die Sprache des Bärenkultes im Ob-ugrischen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. 141 S.

Каксин А. Д., кандидат филологических наук, доцент.
Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии им. Катанова Хакасского государственного университета.
Хакасский исследовательский институт языка. Литературы и истории.
Ул. Ленина, 90, Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017.
E-mail: adkaksin@yandex.ru

Материал поступил 13.02.2016

Kaksin A. D.

ABOUT A TABOO AND FALSE NAMES IN THE KHANTY AND KHAKASS LANGUAGES

In article comparison between a taboo (and the tabooed words) in languages of indigenous people of Siberia is carried out. For comparison material of two Siberian languages – Khanty and Khakass is attracted. This comparison testifies to identical approach to reflection of surrounding reality, but distinction in fragments of lexical systems of two languages. This difference is explained generally by that this fragment appeared in languages of the people living and living in different geographical conditions. Main line of comparison: "bear language" and the tabooed words as a part of the Khanty language and the "false words" of the Khakass language (functioning generally in the sphere of lexicon of hunting). At this taboo it is analyzed as the ban connected with magic function of language (speech) as the phenomenon, characteristic for the languages keeping lexicon of archaic culture. From among the tabooed words only that are used instead of synonymous by it the words or expressions which are represented inappropriate on hunting and in conversation on hunting, on behavior in "a hunting landscape" are considered. In culture of the Khanty the cult of a bear and a complex of myths and ceremonies, the called "bear holiday" or "bear merrymakings" is of great importance. The lexicon connected with this cult we also call actually a taboo. But happen in languages (in our case – Khanty and Khakass) and simply tabooed words, or false names used instead of usual words by the persons involved in the sphere of secret, forbidden, specific (trade).

Key words: *a taboo, the tabooed words, a fragment of lexical system, the Khanty language, the Khakass language*.

References

Adaev V. N. Traditsionnaya ekologicheskaya kultura khantov i nentsev Zapadnoy Sibiri: Avtoref. dis. kand. ist. nauk [Traditional ecological culture of Khanty and Nenets]. Novosibirsk, 2004. 17 p. (in Russian).
Akbarov A. A. Tabu i evfemizmy v tadzhikskom yazyke: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Tabu and euphemisms in Takzhik language]. Khudzhand, 2011. 27 p. (in Russian).
Anzhiganova L. V. Traditsionnoe mirovozzrenie khakasov: Opyt rekonstruktsii [Traditional outlook Khakass: reconstruction experience]. Abakan, 1997. 128 p. (in Russian).
Borgoyakov V. A. Leksika okhoty i rybolovstva v dialektakh khakasskogo yazyka: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Hunting and fishing in Khakass dialects]. Moscow, 2001. 21 p. (in Russian).
Grammatika khakasskogo yazyka / pod red. N. A. Baskakova [Grammar of Khakass]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 418 p. (in Russian).
Dzhabbarov H. M. Tabu i evfemizmy v azerbaydzhanskom yazyke: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Tabu and euphemisms in Azerbajdzhany language]. Baku, 1972. 27 p. (in Russian).
Dunin-Gorkavich A. A. Tobolskiy Sever: v 3 t. T. 1: Obshchiy obzor strany, eyo estestvennykh bogatstv i promyshlennoy deyatelnosti naseleniya [Tobol North: General review of land, and its natural resources and population productive activities]. Moscow, Libereya Publ., 1995. 376 p.: il. (in Russian).
Dunin-Gorkavich A. A. Tobolskiy Sever: v 3 t. T. 3: Etnograficheskiy ocherk mestnykh inorodtsev [Ethnograpfic review of local aboriginals]. Moscow, Libereya Publ., 1996. 208 p.: il. (in Russian).
Zelenin D. K. Tabu slov u narodov Vostochnoy Evropy i Severnoy Azii [Tabu words in the people of Eastern Europe and Northern Asia]. *Sbornik Muzeya antropologii i etnografii*. Leningrad, Izd-vo AN SSSR Publ., 1929. Vol. VIII. 151 p. (in Russian).
Karyalaynen K. F. Religiya yugorskikh narodov. T. 2 / perevod s nemetskogo i publikatsiya d-ra ist. nauk N. V. Lukinoy [Religion of Jugric people]. Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta Publ., 1995. 284 p. (in Russian).
Kr'ukova E. A. Chisla, s kotorymi igrayut ludi: chislitelnye v kontexte ustnogo tvorchestva ketov [Numbers, the people play with: numerals in context of oral folk of Kets]. *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropologi*, 2014, no. 3 (5), pp. 9–16 (in Russian).
Kulemzin V. M. Chelovek i priroda v verovaniyakh khantov [Humans and nature in the beliefs of Khanty]. Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta Publ., 1984. 192 p. (in Russian).
Leontyev A. A. Tabu. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar* / gl. red. V. N. Yartseva [Tabu. Linguistic encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1990. P. 501. (in Russian).
Lukina N. V. Obshchee i osobennoe v kulte medvedya u obskikh ugrov [Universal and unique in bear cult in Ob ugric people]. *Obryady narodov Zapadnoy Sibiri*. Tomsk, 1990. Pp. 179–191 (in Russian).
Medved v kulture obsko-ugorskikh narodov [Bear in the culture of Ob-ugric people]. *Materialy V Yugorskikh chteniy*: sbornik nauchnykh statey / pod red. T. A. Moldanovoy, A. D. Kaksina. Khanty-Mansiysk, GUIPP «Poligrafist» Publ., 2002. 145 p. (in Russian).
Moldanov T. A. Kartina mira v pesnopeniyakh medvezhyikh igrishch severnykh khantov [Worldview in bear fest songs of Northern Khanty]. Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta Publ., 1999. 139 p. (in Russian).
Muratova R. T. Simvolika chisel v yazyke i culture bashkir / Institut istorii, yazyka i literatury Ufimskogo NTs RAN [Symbolics of numbers in Bashkir language and culture]. Ufa, 2012. 180 p. (in Russian).
Musabaev G. G. Sovremenny kazakhskiy yazyk. I: Leksika / Institut yazyka i literatury AN Kazakhskoy SSR [Modern Khazakh - 1]. Alma-Ata, Izd-vo AN Kazakhskoy SSR Publ., 1959. 141 p. (in Russian).
Nagy Z. "Vse boyatsya medvedya". Strakh medvedya na Vasyugane v Sibiri [Everyone fears the bear. Fear of bear on Vasyugan in Siberia]. *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropologi,* 2014, no. 1 (7), pp. 58–81 (in Russian).
Patachakov K. M. Nekotorye svedeniya ob okhote khakasov [Some information on Khakass hunting]. *Rukopisnoe nasledie Khakasskogo nauchno-issledovatelskogo institute yazyka, literatury i istorii*. Abakan, 2006. Issue 1. 38 p. (in Russian).
Pushkaryeva E. T. Kartina mira v folklore i traditsionnykh predstavleniyakh nentsev: sistemno-fenomenologicheskiy analiz: Avtoref. dis. d-ra ist. Nauk [Worldview in the folklore and traditional imagery of Nenets: systemic-phenomenological analysis]. Moscow, 2003. 45 p. (in Russian).
Ryazanova-Dauri V. S. Nravy i obychai v povsednevnoy kulture khantov i mansi: Dis. kand. kulturologii [Habbits and ways of Khanty and Mansi]. St. Petersburg, 2011. 158 p. (in Russian).
Sokolova Z. P. Puteshestvie v Yugru [Travel to Yugra]. Moscow, Mysl Publ., 1982. 176 p. (in Russian).
Frezer Dzh. Zolotaya vetv. Issledovanie magii i religii [Golden branch. Studies of magic and religion]. Moscow, Eksmo Publ., 2006. 960 p. (in Russian).

Khakassko-russkiy slovar = Хакас-орыс сцстік / O. P. Anzhiganova, N. A. Baskakov, M. I. Borgoyakov, A. I. Inkizhekova-Grekul, D. F. Patachakova, O. V. Subrakova, P. Ye. Beloglazov [i dr.] [Khakass-Russian dictionary]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2006. 1114 p. (in Russian).

Tsirtautas I. K. K voprosu o tabu i evfemizmakh v kazakhskom, kirgizskom i uzbekskom yazykakh [On the tabu and euphemisms in Khakass, Kyrgiz, and Uzbek languages]. *Sovetskaya turkologiya – Soviet Turkologi*, 1976, no. 4, pp. 23–31 (in Russian).

Chernetsov V. N. Medvezhiy prazdnik u obskikh ugrov / perevod s nemetskogo i publikatsiya N.V.Lukinoy [Bear fest in Ob ugric people]. Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta, 2001. 50 p. (in Russian).

Shteynits V. K. Khantiyskiy (ostyatskiy) yazyk [Khanty (ostjak) language]. *Yazyki i pismennost narodov Severa*. Leningrad, Uchpedgiz Publ., 1937. Ch. I. Pp. 193–227 (in Russian).

Yaimova N. A. Tabuirovannaya leksika i evfemizmy v altayskom yazyke: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Tabu lexicon and euphemism in Altai language]. Moscow, 1985. 18 p. (in Russian).

Bakró-Nagy M. Die Sprache des Bärenkultes im Ob-ugrischen. Budapest, Akadémia Kiadó Publ., 1979. 141 S.

Kaksin A. D.
Institute of Humanitarian Researches and the Sayan-Altay Turkology of the Katanov Khakass State University.
Khakass Research Institute of Language, Literature and History.
Ul. Lenina, 90, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017.
E-mail: adkaksin@yandex.ru

АНТРОПОЛОГИЯ

Бурнаков В. А.

АЛТЫН ТӦС – ‘ЗОЛОТОЙ ФЕТИШ’ В МИФЕ И ОБРЯДНОСТИ ХАКАСОВ (КОНЕЦ XX – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX В.)

На основе архивных, музейных и литературных этнографических сведений рассматривается культ духов-покровителей у хакасов. Он нашел своё выражение в феномене фетишизма, в частности в виде ритуального изделия *Алтын төс*. В религиозно-мифологическом сознании он воплощал собой образ духа погибшей старой девы, впоследствии ставшей влиятельным шаманским гением. В традиционном мышлении народа этот божок наделялся охранительными, покровительствующими, лечебными и иными свойствами. В связи с чем этот сакральный объект и воспринимался в качестве одной из ключевых семейных святынь. Среди верующих бытовала убежденность, что от его благосклонности в немалой степени зависит сохранность здоровья людей, благополучие их жизни и успех в хозяйственной деятельности. Отводимая ему сакральная роль в духовной жизни хакасов способствовала формированию особой системы обрядности. Она включала в себя как индивидуальные акты поклонения, так и общесемейные.

Ключевые слова: *хакасы, традиция, мировоззрение, шаманизм, культ, обряды, фетиш, төс, Алтын төс*.

Культуре каждого народа присущ свой уникальный комплекс традиций, обычаев и обрядов. В современных условиях глобализации происходят стремительные процессы нивелирования этнической специфики и утраты традиционной обрядности. Поиск и определение этими народами своего исторического пути является сегодня вопросом выживания и сохранения национальной идентичности этноса. В сложившейся ситуации для исторической науки и, в частности, для этнографии особенно актуальным представляется сохранение и глубокое изучение этнической культуры во всех её проявлениях, в том числе и в таком, как почитание сакральных предметов. О большой востребованности изучения этой темы свидетельствует значительный интерес к этнической сувенирной продукции – различным оберегам, амулетам и пр. Отметим тот факт, что не всегда предлагаемые покупателю изделия имеют аутентичный характер, а порой и вовсе далеки от традиционной культуры хакасов. Добавим, что изучение эмпирического материала этнографических исследований позволит существенно расширить область знаний в различных направлениях гуманитарной науки.

Целью работы является определение мифо-ритуального комплекса хакасов, связанного с фетишем *Алтын төс*. Исходя из этого были поставлены такие задачи, как выявление его типов и вариантов, анализ ритуальной практики в отношении этого культового изделия. Хронологические рамки работы охватывают конец XIX – вторую половину XX в. Выбор таких временных границ вызван состоянием источниковой базы по теме исследования.

Работа базируется на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика исследования основана на историко-этнографических методах – научного описания, конкретно-исторического анализа, структурно-семантического и реликта.

В мировоззрении и ритуальной практике хакасов особое значение придавалось фетишам – *төс’ам*. В этнографии под этим термином принято понимать отдельные материальные объекты, к которым испытывается особое, религиозное отношение (Токарев, 1990: 33–34; Кабо, 1993: 212). Следует добавить, что в культуре изучаемого народа сакральная связь между сверхъестественным существом и его обиталищем – конкретным вещественным предметом – *төс’ом* была неразрывна. Подобное представление с определенной долей условности находит свою аналогию в религиозно-мифологических воззрениях о человеческой сущности, состоящей из тела и души. В связи с чем справедлива мысль Д. К. Зеленина о том, что «духи очень

часто вселяются в разные видимые предметы, как природные, так и сделанные руками человека. Вселившийся дух иногда почти неотделим от того предмета, в который он вселился» (Зеленин, 1936: 125). В сознании верующих не только сверхъестественное существо одухотворяет фетиш, но и непосредственно сама его «внешняя оболочка» априори обладает некой священной энергией и магическими свойствами.

В представлениях верующих *тӧс'ы* воплощали собой различных сверхъестественных существ – духов предков, тотемов, гениев-покровителей, демонов болезни и пр. В сакральной иерархии они были неравнозначными. Каждый из них занимал свою нишу. Фетиши подразделялись на семейные и родовые. Своеобразие каждого из них проявлялось не только в различных названиях, но и в их форме, структуре, материале изготовления, локализации и в особенностях обрядности, с ними связанной. В духовной жизни народа *тӧс'ы* обладали обширной функциональностью. В основном они выполняли покровительствующую, охранительную и лечебную функции. Отдельные из них способствовали плодородию.

В этнографической литературе, посвященной изучению культуры хакасов, к сожалению, сведения о многих *тӧс'ах* носят разрозненный, отрывочный, а порой и противоречивый характер. Приходится констатировать и тот факт, что в настоящее время остается не введенным в научный оборот большой фонд архивного этнографического материала и музейных коллекций по обозначенной теме. Их изучение способствовало бы более полному осмыслению данного культурного явления хакасов. В представленной статье сделаем попытку заполнить образовавшуюся лакуну в отношении одного них – *Алтын тӧс'а* – 'Золотого фетиша' (Хакасско-русский словарь, 2006: 56–57). Он являлся одним из самых распространенных культовых изделий у хакасов, главным образом среди кызыльцев[1].

В обрядовой практике этого народа, исходя из имеющихся данных, можно выделить два основных типа *Алтын тӧс'а* с присущей им специфической структурой. Первый из них включал в себя отрезки различных тканей определенных цветов, березовую ветвь, очень часто развилистую, и иногда кожаный ремешок или сплетенную веревочку. В материалах исследователей представлены описания имеющихся вариантов этого почитаемого предмета. По сведениям Д. А. Клеменца и Е. К. Яковлева, он имел вид двух четырехугольных лоскутов – красного ситца[2] и парчи[3], прикрепленных к двум палочкам (43 и 8 см)[4].

Интересные сведения об *Алтын тӧс'е* обнаруживаются в труде А. А. Кузнецовой (1898: 132). Данный фетиш был обозначен автором как «Алтынах-тӧс» – 'букв. Золотисто-белый фетиш'. Он описывается в виде изделия, состоящего из нескольких небольших, наложенных один на другой кусочков цветной и белой бумажной материи. Они же, в свою очередь, прикреплялись при помощи ременной петли к палочке (Там же).

А. В. Адрианов описывает еще три разновидности *Алтын тӧс'а*. Первый вид этого ритуального изделия был сделан из трех четырехугольных отрезков: белого миткаля [5], синего ситца и парчи. Они складывались вместе и сшивались посередине у верхнего края черной нитью. Затем привязывались к березовому пруту с развилкой (Архив. РЭМ. Опись № 2538-6 а.в.). Вторая разновидность этого *тӧс'а* имела следующую структуру и форму. Два четырехугольных лоскутка – синего ситца и парчи – связывались веревочкой посередине у верхнего края и подвешивались к березовой ветви. Развилина при этом, как отмечает автор, была сломана (Архив. РЭМ. Опись № 2538-7 а.в). Третья вариация рассматриваемого сакрального предмета имела большое сходство со второй, за исключением лишь отдельных деталей. Так, два четырехугольных куска ткани – белого миткаля и парчи –связывались посередине у верхнего края специальным ремешком и крепились к березовой веточке с разломанной рогатиной (Архив. РЭМ. Опись № 2538-8 а.в).

---

[1] Кызыльцы (хак. *хызыллар*), качинцы (хак. *хаастар*), сагайцы (*сағайлар*) – субэтнические группы хакасов.

[2] Ситец – хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или с набивным рисунком.

[3] Парча – плотная узорчатая шелковая ткань, вытканная золотыми, серебряными нитями.

[4] Следует отметить, что Д. А. Клеменц сообщает об одной, а Е. К. Яковлев о двух палочках.

[5] Миткаль – сорт хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, неотделанный ситец.

Новые данные о рассматриваемом *төс'е* этого типа встречаются в исследовании В. Я. Бутанаева (2003: 129). В материалах ученого он представлен под названием *Хыспанах төс*. Автор отмечает, что этот фетиш в народе был известен и под названием *Алтын төс* (Там же). Согласно описанию он представлял собой «два сшитых четырехугольных лоскута материи красной или синей дабы[6] и золотой парчи с пришитыми пуговицами вместо глаз, которые укреплялись на березовой палочке» (Там же).

М. С. Усмановой в ходе экспедиционной работы в 1970-х гг. в Хакасии удалось собрать новые этнографические материалы по рассматриваемой теме. Отдельные сведения об этих почитаемых изделиях были опубликованы ею в статье «Культ тёсей у кызыльцев» (1975: 207–208). В обозначенной работе представлена ценная информация и об *Алтын төс'е*. Автор детально описала структуру и конкретизировала размеры основных элементов этого изделия. Согласно ее данным рассматриваемый *төс* имел следующий вид: два кусочка материи одного размера (3×5 см) были прихвачены вместе одним стежком к необструганной березовой палочке длиной 6–7 см. При этом один из них представлял собой позумент[7] с красной полоской, другой – ситец желтого цвета. Исследовательница при этом обратила внимание на то, что в отдельных вариантах позумент на *Алтын төс'е* заменялся черной материей с нашитой на нее золотой нитью (Там же).

Отметим, что М. С. Усмановой из всего корпуса собранных ею этнографических источников в научный оборот была введена лишь небольшая их часть. В ее архивных материалах обнаружены сведения по нескольким вариантам символического оформления этого божка. Так, исследовательница сообщает о том, что *Алтын төс* мог изготавливаться в виде сшитых между собой отрезков разнообразных тканей. При этом этнограф акцентирует внимание на том, что комбинация его тканевых составных элементов могла варьироваться от одной до трех. Кроме того, используемая при оформлении фетиша их цветовая гамма также была неоднородна. В ее полевых материалах встречается упоминание о сочетании таких отрезков материалов, как: 1) золотая парча и белая материя, 3) золотая парча и синяя даба, 4) золотая парча, черная и белая материи (Усманова, 1975: 212; АМАЭС ТГУ: № 678-1: 28, 51; № 678-2: 25, 48; № 678-3: 25).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что не всегда обозначенные тканевые составляющие прикреплялись к палочке. Как ритуальные предметы они нередко использовались и самостоятельно без деревянной основы (Там же). Заметим, что даже в том случае, когда в структуре фетиша одновременно были представлены отрезки материи и березовое основание, ключевым и приоритетным выступал все же первый из перечисленных элементов. Данную реалию у хакасов в свое время отмечал и С. В. Иванов. Ученый сообщал о том, что верующие были убеждены, что дух того или иного *төс'а* обитал в лоскуте материи, а не на палке (Иванов, 1955: 173). Исходя из этого можно выделить второй тип *Алтын төс'а*. Он состоял лишь из куска ткани – парчи (длиной 30–40 см), иногда в сочетании с белым и/или синим ситцем. Деревянной основы при этом не было. Подобные фетиши чаще встречались у качинцев (АМАЭС ТГУ, № 678-2: 48). Следует добавить то, что в обрядности хакасов была широко распространена практика использования различных тканей и изделий из них в качестве самостоятельных ритуальных предметов. Так, на сакральные объекты, в том числе и на почитаемые деревья, хакасы, как и другие сибирские народы, в качестве подношения и особого символического акта повязывали священные ленты – *чалама*. Более того, в культуре народа был представлен и другой тканевый фетиш – *Чаға / Шаға төс*, имеющий вид мужской рубахи, женского или детского платья (Яковлев, 1900: 61; Адрианов, 1909: 523; Усманова, 1975: 209).

Изучая устройство и составные элементы *төс'а,* необходимо остановиться и на семантике отдельных деталей фетиша. А. М. Сагалаев в своей статье «О символике хакасских тёсей»

[6] Даба – китайская хлопчатобумажная ткань.

[7] Позумент (галун) – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.

(2001) рассмотрел семантику отдельных вильчатых фетишей. Основное внимание при этом сосредоточил лишь на анализе деревянной развилки. Согласно выводам исследователя, которые мы вполне разделяем, она символизировала собой «единое порождающее начало». В связи с чем воплощала собой такие идеи, как мужское и женское начала, брак, общий корень-происхождение, первопредки (Там же). Добавим, что в мировоззрении народа деревянная развилина, на наш взгляд, воплощала собой и концепцию мироустройства, олицетворяла собой мировое древо. Данная мысль получила свою реализацию и в образе родового дерева. Известно, что каждый хакасский *сөөк* – род имел и почитал данный объект как символ обиталища души и сакральной силы рода (Усманова, 1980: 101–102; Бутанаев, 2003: 40).

Второй основополагающий элемент *Алтын төс'а* – это ткань. Отметим, что в одной из наших работ был основательно рассмотрен мифо-ритуальный комплекс хакасов, связанный с ней (Бурнаков, 2012). Отметим, что ткань и многие изделия из нее часто связывались с женским началом и употреблялись во всех обрядах жизненного цикла человека, выполняли сакрально-магическую функцию и символическую, включавшую в себя продуцирующую, защитную, очистительную, коммуникативную, интегрирующую, подарочную и т. д. (Там же). В полной мере подобные представления применимы и к тканям, используемым при изготовлении фетишей.

Итак, подытоживая семантику основных элементов *Алтын төс'а* в мировоззрении хакасов, можно сделать вывод о том, что это почитаемое изделие своей структурой и оформлением выступало своего рода репликой родового древа со всем его смысловым наполнением. В обыденной культовой практике оно всегда было украшено сакральными лентами *чалама*.

Местом расположения *Алтын төс'а* в юрте (*иб*) был передний угол – *төр*, где находился алтарь. При этом способы его установки были различны. Обычно его располагали в ящичках – *абдыра*, прикрепляли на гвозди либо посредством заостренного колышка вонзали меж бревнами в стену (Клеменц, 1892: 28; АМАЭС ТГУ, № 677-13: 21). В домах (*тура*) фетиш, как правило, подвешивали в почетном углу на матицу (Усманова, 1975: 208, 212; Бутанаев, 2003: 129). Следует заметить, что у кызыльцев *Алтын төс* считался одним из главных и могущественных домашних божков. Поэтому его располагали исключительно только в жилище (юрте/доме). В то время как иных многочисленных фетишей обычно помещали в специализированных кумирнях – *төстіг киртпе* (АМАЭС ТГУ, № 678-2: 48).

Алтын төс воспринимался хакасами в качестве женского духа, а если быть точнее – неприкаянной души умершей старой девы. Согласно верованиям, на севере Хакасии одна девушка жила вместе со своими семью братьями. Как и все сородичи, они разводили скот и имели свои пастбища. Регулярно кочевали с летника (*чайлаг* / *шайлаг*) – территория современного села Копьево на зимник (*хыстаг / хыштаг*) – деревня Кагаево. Жизнь шла своим чередом. Прошло много времени, а девушка так и не вышла замуж. И осталась ходить в старых девах. Братья постоянно попрекали сестру за безбрачие и говорили, что она тем самым позорит их род. Однажды, когда настало время очередной перекочевки с летника на зимник, старший брат объявил всем о том, что сестра с ними не поедет. Она должна остаться здесь одна на всю зиму. При этом произнес следующие слова: «Пусть остается в *шайлаг*. Если умрет, – так пусть умрет! Если выживет, – так пусть живет!» После этого все родственники, оставив немного еды, покинули ее. Лишь в сердце единственного человека – младшей невестки зародилось глубокое сострадание к ней. Втайне от остальных, она решила навещать брошенную родственницу и подкармливать ее. Как-то раз, улучив момент, она отправилась к ней. Добравшись до юрты, она увидела, что женщина в одиночестве сидит возле очага, изнемогая от холода и голода. Девушка немедля накормила ее и сразу же отправилась обратно домой. Навестив покинутую родственницу во второй раз, невестка увидела такую картину: золовка зарылась в то место, где был очаг. Гостья посчитала, что хозяйка сошла с ума. Придя в третий раз, она не обнаружила ни женщины, ни даже ее останков. Прошло некоторое время, и «кагаевский род»

стал вымирать. Сначала умер старший брат, а затем второй, третий… Люди обратились к шаману с просьбой узнать причины обрушившихся на их головы несчастий. Шаман, совершив камлание, сообщил, что все бедствия возникли из-за проклятий старой девы, которую они бросили на произвол судьбы. Она стала гневным духом и в отместку за свои страдания насылает на когда-то близких ей людей всевозможные бедствия. Перед мистическим взором шамана этот дух предстал в образе всадницы, скачущей на бело-сером коне. Она была облачена в золотую, блестящую одежду. Для того чтобы прекратились несчастья и нормализовалась жизнь людей, кам повелел всем сородичам изготовить *Алтын тӧс* и регулярно его почитать. Все сказанное было исполнено. В результате чего они были прощены духом. И вскоре жизнь людей стала налаживаться. Со временем этот *тӧс* распространился по Хакасии (АМАЭС ТГУ, № 678-2: 47 об. – 48).

Анализируя семантику деталей фетиша и сопоставляя его с мифологическим текстом, с ним связанным, приходим к пониманию правоты суждения А. М. Сагалаева о том, что «попытка целостного (непротиворечивого) прочтения любого фольклорного “обращения” к хакасскому тёсю оборачивается неудачей. Вероятно, именно потому, что фольклорная “биография” каждого тёся – явление позднее и синкретичное. Такого рода текст может видоизменяться, переосмысливаться бесконечно» (2001: 217).

Следует отметить то обстоятельство, что распространение *Алтын тӧс’а*, как и многих других фетишей среди различных субэтнических групп хакасов, в большей мере было обусловлено брачными процессами, происходившими между их представителями. При этом совершенно очевидно, что некоторые из них в новой среде могли подвергаться определенным новациям. Это в свою очередь могло привести к некоторой их модификации либо в отдельных случаях отказу от них в пользу новых. Появление новых священных предметов могло определяться и личной рекомендацией служителей культа – шаманов. Так, Л. П. Потапов по этому поводу сообщал: «Старинные тӧси кызыльцы заменяли качинскими. Как правило, кызыльцы обращались к качинским шаманам, привозя их за десятки и даже сотни километров. Своих шаманов у кызыльцев было мало, и они считались менее сильными, чем шаманы качинские» (Потапов, 1956: 395). Можем с уверенностью добавить, что и сами качинцы в свою очередь могли заимствовать у кызыльцев отдельные культовые предметы, в частности *Алтын тӧс*. В связи с этим определенной трансформации могло подвергаться и мифологическое сопровождение каждого почитаемого объекта.

В целом же верующие считали *Алтын тӧс’а* одним из сильнейших духов-покровителей семьи, обладающих широким спектром лечебных функций. К его мистической помощи обращались для избавления от различных детских болезней и болей в груди, а также при заболеваниях головы, глаз, зубов, горла, ушей и суставов (Клеменц, 1892: 28; Яковлев, 1900: 60; Усманова, 1975: 208, 212; РЭМ. Опись №: 2538-6 а. в., 2538-7 а. в., 2538-8 а. в.; АМАЭС ТГУ: № 678-2: 47 об. – 48; № 678-3: 25).

Обрядовая практика в отношении *Алтын тӧс’а*, как правило, выражалась в его ежемесячном чествовании. Ритуал всегда совершался мужчиной на новолуние – *ай наазы* (АМАЭС ТГУ, № 678-1: 28). Однако периодически случавшиеся эксцессы в жизни людей побуждали их обращаться за помощью к этому божку гораздо чаще. Обычно это происходило при внезапных заболеваниях людей и (или) скота, различных несчастьях и потерях, а также в ситуации больших и продолжительных неудач в хозяйственных делах и т. д.

Само обрядовое действо состояло из молитвенного обращения к *Алтын тӧс’у* с поклонами и просьбой помочь в разрешении проблемы, окуривания и подношения ему жертвуемой пищи. Курительное вещество готовили следующим образом. Натирали березовую кору, находящуюся прямо под берестой и смешивали ее с богородской травой (*ирбен*). Процесс окуривания фетиша мог проходить в двух формах. Во-первых, полученную смесь клали в курительную трубку. Затем, закурив, выпускали дым прямо на *тӧс’а*. Во-вторых, «табак» выкладывали в плошку с горячими углями и ставили ее перед этим домашним благодетелем (Усманова, 1975: 208).

Жертвование пищи этому духу также имело свою специфику. В качестве подносимых ему ритуальных продуктов выступали молоко, коровье масло и бараний курдюк. Фетиш окропляли молоком. Кроме того, этот напиток нередко наливали в специальную чашу – *чірче* и ставили перед божком. Масло же обычно выливали в металлическую емкость с раскаленными углями. Курдюк же выставляли на блюдце или также бросали на угли (Клеменц, 1892: 28; Яковлев, 1900: 60; Усманова, 1975: 208; РЭМ. Опись №: 2538-6 а. в., 2538-7 а. в., 2538-8 а. в.; АМАЭС ТГУ, № 678-2: 47 об.).

Нарушение правил обращения с этим *тӧс'ом*, как полагали, приводило к тяжелым последствиям. Среди верующих имела распространение следующая поучительная история. Както раз старики, будучи сами не в состоянии сделать небольшой ремонт в доме, наняли молодого человека. Необходимо было побелить стены, покрасить полы и др. Работник с рвением принялся выполнять поставленную перед ним задачу. Мужчина в процессе своей трудовой деятельности стал сжигать в печи старые вещи. По незнанию он бросил в огонь и *Алтын тӧс*. Как только он это сделал, так сразу же потерял зрение. И домой его отвели уже слепого (АМАЭС ТГУ, № 678-1: 20).

Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что в мировоззрении и обрядовой практике хакасов значительное внимание отводилось фетишам, и в частности такому как *Алтын тӧс*. Он обладал высоким ритуальным статусом и всегда располагался на самом почетном месте жилища. В своей глубинной архаичной основе самой структурой м материалом, очевидно, воплощал собой идею родового древа. Вместе с тем выступал в качестве одного из важнейших духов-покровителей. В сознании народа бытовала убежденность, что во многом от его благосклонности зависит сохранность здоровья людей, благополучие их жизни и успех в хозяйственной деятельности. Широкая популярность божка способствовала появлению различных вариантов его внешнего изображения. При этом выделяется два его основных типа. К первому типу можем отнести те, в структуре которых были представлены комбинация отрезков тканей различных цветов и деревянная развилка. Ко второму – лишь кусок материала без деревянного основания. Однако ключевым маркером в обоих типах рассматриваемого *тӧс'а* неизменно выступала парчовая ткань – олицетворение одежды почитаемого духа.

Список источников

Архив Музея археологии и этнографии им. В. М. Флоринского Томского государственного университета (далее – АМАЭС ТГУ). № 677-13 «Этнографическая экспедиция ТГУ. Хакасия-Чулым. Лето 1972 г. Тетрадь № 13. Записи вела М. С. Усманова». – 63 л.

АМАЭС ТГУ. № 678-1 «Этнографическая экспедиция ТГУ в Хакасию, Ужурский и Шарыповский районы Красноярского края. Август 1973 г. Записи вела М. С. Усманова». – 51 л.

АМАЭС ТГУ. № 678-2 «Этнографическая экспедиция в Хакасию летом 1973 г. Записи вела М. С. Усманова». – 48 л.

АМАЭС ТГУ. 678-3 «Этнографическая экспедиция ТГУ в Хакасию и Шарыповский район Красноярского края. Август-сентябрь 1973 г. Записи вела М. С. Усманова». – 48 л.

Архив Российского этнографического музея (РЭМ). Описи фонда А. В. Адрианова, № 2538. Этнографические материалы А. В. Адрианова, собранные в 1909 г. по поручению Этнографического отдела Русского музея императора Александра III. Восточная Сибирь, Енисейская губерния, уезд Ачинский, Кызыльская ступная дума (улусы Тайдонов, Подкаменный, Половинка, Чебаки и Колбасы). Предметы шаманского культа»: № 2538-6 а.в. «Алтын тюс», № 2538-7 а.в. «Алтын тюс», № 2538-8 а.в. «Алтын тюс».

Список литературы

Бурнаков В. А. Ткань в ритуальной практике хакасов // Вестн. Новосибирского гос. ун-та, 2012. Т. 11. Вып. 5. С. 175–186.

Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003.

Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. М., 1936.
Иванов С. В. К вопросу о значении изображений на старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья // Сб. Музея антропологии и этнографии. М.–Л., 1955. Т. 16. С. 165–264.
Кабо В. Р. Фетишизм // Свод этнографических понятий и терминов. Религиозные верования. М., 1993. Вып. 5. С. 212–214.
Клеменц Д. А. Заметка о тюсях // Изв. Восточно-сибирского отдела ИРГО. 1892. Т. XXIII, № 4–5. С. 23–35.
Кузнецова А. А. Жилища, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев // Минусинские и ачинские инородцы. Красноярск, 1898. С. 105–213.
Потапов Л. П. Хакасы // Народы Сибири. М.-Л., 1956. С. 376–419.
Сагалаев А. М. О символике хакасских тёсей // Евразия сквозь века. Сборник научных трудов, посвященный 60-летию со дня рождения Д. Г. Савинова. СПб., 2001. С. 216–217.
Токарев С. А. Ранние формы религии. М., 1990.
Усманова М. С. Культ тёсей у кызыльцев // Из истории Сибири. Томск, 1975. Вып. 16. С. 206–215.
Усманова М. С. Дерево в традиционных представлениях хакасов // Вопросы этнокультурной истории Сибири. Томск, 1980. С. 103–113.
Хакасско-русский словарь. Новосибирск, 2006.
Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и Объяснительный каталог Этнографического отдела музея. Описание Минусинского музея. Минусинск, 1900. Вып. 4.

Бурнаков В. А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник.
Институт археологии и этнографии СО РАН,
Новосибирский государственный университет.
Пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090.
E-mail: venariy@ngs.ru

Материал поступил 13.02.2016

Burnakov V. A.

ALTYN TÖS – 'GOLD FETISH' IN THE MYTH AND RITUALS OF KHAKASES (END OF XIX – MID XX CENTURY)

The aim article to study the cult of fire at Khakases such material manifestation, as a fetish Altyn tös.

To achieve this goal presented the following tasks: the definition of him sacred significance and the role in the worldview and ritual practices of this people, an analysis of its external characteristics and the reveal of variations symbolic of design figuration and consideration of ways to interact with this ritual sacred object.

The chronological scope of work covers the end of the XIX – mid XX century. The choice of these time limits is caused, first of all, the state of the source base on the study.

Selection temporal boundaries are caused primarily by the status of the database sources on the research topic. The main sources are archival and ethnographic materials. The work is based on comprehensive, system-historical approach to the study of the past. Research methodology is based on historical and ethnographic methods – scientific description, the specific historical and relic.

In the worldview and ritual practice Khakases considerable attention was given to fetishism. In traditional consciousness, the fire was endowed with protective and patronizing functions. One of the brightest and most revered idols was Altyn tös.

He had a high ritual status, and is always located at the place of honor in the home. It was common belief that largely depends on his favor the preservation of people's health, well-being of their life and success in economic activities. Derived his sacred role in the spiritual life Khakases contributed to the formation of a special ritual system. It included, both individual and extended family acts of worship. Popular idol contributed to the emergence of different variants of its external image. However, a key marker acted brocade fabric.

Key words: *Khakases, tradition, worldview, shamanism, cult, ritual, fetish, tös, Altyn tös*.

References

Burnakov V. A. Tkan' v ritualnoy praktike khakasov [Textile in the ritual practice of khakases]. *Vestnik Novosibirskogo gosuderstvennogo universiteta – Novosibirsk State University Bulletin*, 2012, vol. 11, no. 5, pp. 175–186 (in Russian).
Butanaev V. Ya. Burkhanizm tyurkov Sayano-Altaya [Burkhanism Turks Sayano-Altai]. Abakan, 2003 (in Russian).
Zelenin D. K. Kult ongonov v Sibiri [The cult of ongons in Siberia]. Moscow, 1936 (in Russian).
Ivanov S. V. K voprosu o znachenii izobrazheniy na starinnykh predmetakh kulta u narodov Sayano-Altayskogo nagor'ya [To the question of the meaning of the symbols on ancient objects of worship among the peoples of the Sayan-Altai highlands]. *Sbornik Muzeya antropologii i etnografii* [Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography]. Moscow, Leningrad, 1955. Vol. 16. Pp. 165–264 (in Russian).
Kabo V. P. Fetishizm [Fetishism]. *Svod etnograficheskikh ponyatiy i terminov. Religioznye verovaniya* [Arch ethnographic concepts and terms. Religious beliefs]. Moscow, 1993. Vol. 5. Pp. 212–214 (in Russian).
Klements D. A. Zametka o tyusakh [Note about the tyus]. *Izvestiya Vostochno-sibirskogo otdela Russkogo Geograficheskogo Obshchestva –The Bulletin of the East-Siberian Department of Imperial Russian Geographical Society*, 1892, vol. 23, no. 4–5, pp. 23–35 (in Russian).
Kuznetsova A. A. Zhilishche, odezhda i pishcha minusinskikh i achinskikh inorodtsev [Housing, clothing and food Minusinsk and Achinsk natives]. *Minusinskie i Achinskie inorodtsy* [Minusinsk and Achinsk natives]. Krasnoyarsk, 1898. Pp. 105–213 (in Russian).
Potapov L. P. Khakasy [The Khakases]. *Narody Sibiri* [The peoples of Siberia]. Moscow, Leningrad, Publ., USSR Academy of Sciences Publ., 1956. Pp. 376–419 (in Russian).
Sagalaev A. M. O simvolike khakasskikh tyosey [About symbolics Khakass tyosy]. *Evraziya skvoz' veka. Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchennyy 60-letiyu so dnya rozhdeniya D. G. Savinova* [Eurasia through the centuries. The collection of scientific works devoted to the 60 anniversary since the birth of D. G. Savinov]. St. Petersburg, 2001. Pp. 216–217 (in Russian).
Tokarev S. A. Rannie formy religii [Early forms of religion]. Moscow, 1990 (in Russian).
Usmanova M. S. Kult tyosey u kyzyl'tsev [Cult of Tyosy at kyzylts]. *Iz istorii Sibiri – From the history of Siberia*, 1975, vol. 16, pp. 206–215 (in Russian).
Usmanova M. S. Derevo v traditsionnykh predstavleniyakh khakasov [The tree in the traditional views of the Khakasses]. *Voprosy etnokulturnoi istorii Sibiri* [The questions ethnocultural history of Siberia]. Tomsk, 1980. Pp. 103–113 (in Russian).
Khakassko-russkiy slovar' [Khakass-Russian Dictionary]. Novosibirsk, 2006 (in Russian).
Yakovlev E. K. Etnograficheskiy obzor inorodcheskogo naseleniya doliny Yuzhnogo Eniseya i ob'yasnitelnyy katalog etnograficheskogo otdela muzeya. Opisanie Minusinskogo muzeya [Ethnographic Overview on Native Population South Yenisei Valley and Explanatory Catalog Ethnographic Department of the Museum. Description Minusinsk Museum]. Minusinsk, 1900 (in Russian).

List of Sources

Arkhiv MAES TGU (dalee – AMAES TGU) [Archive of the Museum of archeology and ethnography of Tomsk state university (further – AMAES TGU), № 677-13 «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU. Khakasiya-Chulym» [Ethnographic expedition TSU. Khakassia-Chulym]. Leto 1972 g. Tetrad' N 13. Zapisi vela M. S. Usmanova» [Summer of 1972. Notebook N 13. Recording led M. S. Usmanova], 63 p. (In Russian).

AMAES TGU, № 678-1 «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU v Khakasiyu, Uzhurskiy i Sharypovskiy rayony Krasnoyarskogo kraya [Ethnographic expedition TSU in Khakassia, Uzhur and Sharypov districts of the Krasnoyarsk territory]. Avgust 1973 g. Zapisi vela M. S. Usmanova» [August, 1973. Recording led M. S. Usmanova], 51 p. (In Russian).

AMAES TGU, № 678-2 «Etnograficheskaya ekspeditsiya v Khakasiyu letom 1973 g. [Ethnographic expedition in Khakassia Summer of 1973]. Zapisi vela M. S. Usmanova» [Recording led M. S. Usmanova], 48 p. (In Russian).

AMAES TGU, № 678-3 «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU v Khakasiyu i Uzhurskiy rayony Krasnoyarskogo kraya [Ethnographic expedition TSU in Khakassia and Uzhur districts of the Krasnoyarsk territory]. Avgust-Sentyabr'1973 g. Zapisi vela M. S. Usmanova» [August- September, 1973. Recording led M. S. Usmanova], 48 p. (In Russian).

Arkhiv. Rossiyskiy etnograficheskiy muzey (REM) [Archive of the Russian Museum of Ethnography (REM)]. Opis' fonda A. V. Adrianova, no. 2538. «Etnograficheskie materialy A. V. Adrianova, sobrannye v

1909 g. po porucheniyu Etnograficheskogo otdela Russkogo muzeya imperatora Aleksandra III. Vostochnaya Sibir’, Eniseiskaya guberniya, uezd Achinskiy, Kyzyl’skaya stepnaya duma (ulusy Taidonov, Podkamennyi, Polovinka, Chebaki i Kolbasy). Predmety shamanskogo kul’ta»: no. 2538-6 a. b. “Altyn tyus”, no. 2538-7 a. b. “Altyn tyus”, no. 2538-8 a. b. “Altyn tyus” [Inventories Fund AV Andrianov, no. 2538. Ethnographic materials AV Andrianov, collected in 1909 on behalf of the Ethnographic Department of the Russian Museum of Emperor Alexander III. Eastern Siberia, the Yenisei province, district Achinsk, Kyzyl steppe Duma (uluses Taidonov, Podkamennyi, Polovinka, Chebaki i Kolbasy). Objects shaman cult: no. 2538-6 a. b. “Altyn tös”, no. 2538-7 a. b. “Altyn tös”, no. 2538-8 a. b. “Altyn tös”]. (In Russian).

Burnakov V. A.
Department of Ethnography Institute of Archaeology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences,
Humanities Research Novosibirsk State University.
Pr. Academic Lavrentiev, 17, Novosibirsk, 630090.
E-mail: venariy@ngs.ru

Шерстова Л. И.

В ПОИСКАХ СЕБЯ: «НОВЫЕ» ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ СИБИРИ*

Исследуются условия и механизмы формирования различных моделей коллективных идентичностей у тюркоязычных народов Сибири в конце XX – начале XXI в. Делается вывод о значимости архаичных социальных институтов как о первоначальном этапе моделирования родовых идентичностей. Подчеркивается связь между этническими процессами и возникновением этнических моделей идентичностей. Незавершенность этнической консолидации находит отражение в стремлении отказаться от искусственных этнонимов и поиска новых. Показывается значимость конфессиональной идентичности как дополнительного фактора для закрепления слабо выраженной этнической идентичности. Выявляется значение исторической (квазиисторической) памяти для конструирования различных моделей идентичностей вплоть до «общетюркской» (центрально-азиатской).

Ключевые слова: *идентичность, этническое самосознание, тюркоязычные народы Сибири, историческая память, род, этноним, конфессия, этнические процессы, конструирование*.

Распад Советского Союза, дискредитация и отказ от общесоветской идентичности в условиях политической нестабильности и экономического хаоса конца XX – начала XXI в. вызвали объективный процесс поиска отдельными людьми и целыми социальными группами новых способов и средств адаптации в стремительно менявшейся исторической действительности. Следствием этих процессов стала актуализация архаичных систем солидарности, наиболее типичным проявлением которых являются представления об «общем происхождении» и значимости кровно-родственных связей как условий для создания комфортного социального бытия. Внешнее отражение этих тенденций проявилось в поисках «новых» идентичностей аборигенными, в том числе тюркоязычными, народами Сибири.

Инициаторами этого процесса выступали многочисленные национальные общественные организации, возникавшие в тот период. Движение началось «снизу» в виде появления небольших национальных организаций, ставивших целями своей деятельности защиту прав народов Сибири, особенно в регионах промышленного освоения. Важную роль в развертывании национальных, возрожденческих движений аборигенных народов Сибири сыграло образование в 1990 г. «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», ставившей своей задачей не только создание условий для успешной адаптации аборигенов Сибири к рыночной экономике, но и сохранение, возрождение их культур. В настоящее время в этой организации представлено 30 народов, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Горном Алтае в 1991 г. также создается организация возрождения алтайцев «Эне тил» – «Родной язык», ставшая центром дискуссий о прошлом, настоящем и будущем алтайского этноса. Однако ещё раньше, в конце 1980-х гг., в Горном Алтае появился общественный интерес, направленный на возрождение таких институтов традиционной организации алтайского социума, как «род» (сеок) и «зайсанат» (в досоветский период «зайсан» – глава дючины – административно-фискального образования, аналогичного русской волости). Род-сеок сохранялся в алтайском обществе на протяжении всего XX в., регулируя семейно-брачные отношения, и рассматривался этнографами как «пережиток». Он естественным образом «перетек» из советской действительности и был актуализирован как показатель национального «возрождения», как «истинно» алтайский элемент традиционной культуры. Второе явление –

* Статья подготовлена при поддержке фонда им. Д. И. Менделеева.

зайсанат – было сознательно реанимировано национальной элитой как противовес существовавшей форме легитимной власти и как стремление части населения сплотиться на основе «родовой» близости, попасть под покровительство «своего справедливого начальника». В течение 1990-х гг. в Горном Алтае «родовое движение» затронуло большую часть аборигенного населения. Выборы зайсанов, посещение родовых святилищ, возрождение зайсанских судов стали не только важными элементами поиска социальной и экономической защищенности, но и условием усиления родового уровня этнического самосознания, фактором «возрождения» родовой идентичности (Тадина, Ябыштаев, 2009: 51–52).

Аналогичные процессы протекали и в соседней Хакасии, где с начала 90-х гг. XX в. было проведено 12 съездов хакасского народа, на которых также ставились вопросы национального возрождения, и прежде всего широкого внедрения в общественную и образовательную сферы хакасского языка. Был реанимирован опыт самоорганизации хакасского народа – создан исполнительный орган «Чон Чоби», затем – советы родов и муниципальных образований и «Республиканский совет старейшин родов хакасского народа» (Ангижакова, 2011: 202).

Похожие этносоциальные процессы стали важной частью общественно-политической жизни многих сибирских народов. «Возрождение родов» проходило не только у тех народов Сибири, у которых они сохранились к концу XX в.; «воссоздать» родовую организацию пытались и те этносы, у которых она сильно деградировала или вообще не существовала в реальной жизни. Такое стремление отражало базовую установку на объединение со «своими», на надежду получения поддержки в условиях социально-экономической нестабильности от «кровных» родственников, а, по сути, выявило значимость такого универсального способа самоорганизации социума и этноса, как актуализация наиболее архаичных и тем не менее достаточно устойчивых форм социальной организации. Представление о «кровном» родстве воспринималось как «безусловная» основа для объединения «своих».

Род, или то, что в этнографической литературе получило такое название, будучи «естественной» и универсальной формой социальной организации, становится и выражением низового уровня этнической идентичности отдельных сибирских народов. Учитывая периферийное положение этого социального института в структуре аборигенных народов в советские годы, единственным возможным условием его введения в современные социумы становилась актуализация его безусловной самоценности и даже конструирование родовой идентичности теми народами, у которых он не сохранился. Показателем этого стали многочисленные дискуссии о том, какие роды имеются в составе тех или иных народов, какие из них являются «настоящими», а какие «инородными», «пришлыми», сколько их, в каких отношениях они находятся между собой.

Следующим этапом развития «родового движения» стало выявление роли, которую в прошлом играли отдельные роды и их зайсаны. Однако это не только не способствовало укреплению родовой идентичности, но размывало и внутриродовые стяжки, так как всплывали противоречивые отношения между семьями одного рода, по-разному оценивались реальные и легендарные персонажи прошлого. Причина заключалось в том, что позитивность рода была в значительной степени идеализирована, вследствие чего надежды на него как на фактор стабильности аборигенного социума не оправдались. Другой не менее важной причиной неудачи было и то, что в повседневной жизни функции рода у тюркоязычных народов Сибири, прежде всего в экономической сфере, с раннего средневековья выполняла семья. Однако актуализация родовой идентичности имела важное значение для первоначального осмысления своего коллективного места в современном изменившемся мире и показала, что в более благоприятных условиях род может быть основой для конструирования коллективных идентичностей.

В этот же период возникают многочисленные дискуссии о правомерности использования тех или иных этнонимов сибирскими народами. Критике подвергались уже существующие и предпринимались попытки «создать» или актуализировать некогда использовавшиеся.

Возникновение данной проблемы во многом было обусловлено объективными причинами. Если сравнить этнонимы народов Сибири досоветского периода с современными, то выяснится, что они очень часто не совпадают. Появление современных этнонимов было связано, во-первых, с результатом этнических процессов уже в рамках российского государства. Во многих случаях административно-фискальная приписка аборигенных групп к разным русским городам нарушала былую этническую целостность, а границы сибирских уездов определяли будущие этнические границы современных народов. Так, разная административная подчиненность объякученных тунгусов привела к тому, что в рамках Мангазейского уезда с XVII в. началось формирование нового этноса – долган, а в Якутском уезде сложилась этнографическая группа северных якутов. Во-вторых, в целях классификации тюркоязычного населения юга Западной Сибири в середине XIX в. В. Радловым на основании лингвистических материалов были выделены барабинские татары, кумандинцы, шорцы, имевшие в то время слабую консолидацию и сохранявшие родовую, семейную дробность. В-третьих, некоторые современные этнонимы закрепились за аборигенным населением в результате национально-территориальной политики уже в советское время. Так произошло с тюркоязычным население на юге бывшей Енисейской губернии: проживавшие здесь абаканские, минусинские, ачинские татары, сохранявшие собственные этнонимы – кизильцы, качинцы, сагайцы, бельтиры, койбалы, – с 1920-х гг. стали называться искусственным этнонимом «хакасы» (Шерстова, 2005: 164). Однако смутная память о прошлых этнонимах сохранялась.

Поэтому в 1990-е гг., например, шорцами был поставлен вопрос о неправильности использования в качестве самоназвания этнонима «шорец» для всего тюркоязычного населения верховий Томи. Основанием для этого послужило то, что это было названием одного из традиционных родов XIX в., которое было перенесено на всех аборигенов В. Радловым в целях этнографической классификации. Впоследствии, уже в советское время, этноним «шорцы» закрепился за всеми тюркоязычными аборигенами верховий Томи. В качестве «новых» эндоэтнонимов предлагались «татары», «ясашные». Однако и они не всем показались удачными.

Еще более сложная проблема, связанная с этнонимикой, но, по сути, направленная на конструирование этнической идентичности надродового уровня, возникла в Горном Алтае.

В работах современных ученых Республики Алтай появляются утверждения о том, что в XVII–XIX вв. Горный Алтай и Верхнее Приобье были заселены единым и фактически неизменным теленгитским этносом и во всем близкими ему кумандинцами, тубаларами, челканцами (Самаев, 1991: 28–29). Такие утверждения вряд ли являются плодом исторического невежества. Скорее всего, это попытка традиционным способом, т. е. через обращение к «священному прошлому», обосновать выдвигаемую ныне идею моноэтничности аборигенов Алтая и в настоящем. Иначе говоря, речь идет всего об искусственном конструкте – «едином алтайском этносе», населяющем Горный Алтай с древности до современности.

Появление подобных взглядов отражало, во-первых, стремление части интеллигенции алтай-кижи: представить свой этнос как «правильный», базовый для остальных народов Алтая; втянуть их «в себя», как бы «уничтожив» объективно существующие этнические границы. Во-вторых, такие установки были направлены на закрепление этнонима одного из народов, давшего название республике, за всеми аборигенами Горного Алтая, что неизбежно проявляло пренебрежение к этнокультурному многообразию этого региона. Утверждая тезис «извечного единства и неизменности алтайского этноса», образ «истинного алтайца» легитимизировался следующим образом: «В алтайской среде не будут пользоваться уважением, а значит предлагаться на посты и должности те, кто относится к стереотипу «обрусевшие» – «туба», не говоря о «кайлык» (метисы), независимо от их личных качеств» (Цит. по: Октябрьская, 2005: 465). Таким образом, получалось, что «настоящий» алтаец – это прежде всего именно алтай-кижи, этнос, проживающий в Центральном и Западном Алтае.

Такие постулаты, несмотря на апелляции к «единому в прошлом народу Алтая», не способствовали выработке общеалтайской идентичности, так как игнорировалась богатейшая и разнообразная этническая история народов прежде всего Северного Алтая. Ведь со времен В. Радлова и В. Вербицкого в отечественной тюркологии существует таксономическое деление народов Горного Алтая на северных и южных алтайцев. Работы отечественных исследователей XX в., изучавших их языки, культуру, родовой состав, подтвердили этот принцип деления, обнаружив достаточно серьёзные различия между северными и южными алтайцами. Тезис об этнической однородности Горного Алтая наоборот провоцировал поиски другими алтайскими народами своей «особенной» идентичности, в чем им невольно помогло государство.

В 1993 г. кумандинцы, как особый этнос, получили статус коренного малочисленного народа России, что сопровождалось включением их этнонима в официальный список российских народов. Следствием этого стала широко развернувшаяся среди челканцев, тубаларов, теленгитов аналогичная кампания, начавшаяся в середине 1990-х гг. и увенчавшаяся успехом в 1999 г.: они также официально были признаны самостоятельными малочисленными коренными народами. Естественно, что «этническая реабилитация» спровоцировала поиск и определение «настоящей особости» и «собственной» этнической идентичности. Яркий пример – вышедшая в 2001 г. книга Л. М. Тукмачева-Соболекова «У истоков древнего Алтая», в которой дается «новая» история кумандинцев, якобы проживающих на Алтае в неизменном виде с III в. до н. э. (Тукмачев-Соболеков, 2001). Понятно, что с точки зрения исторической науки авторские фантазии несостоятельны – в данном случае оформление, утверждение кумандинской идентичности основывалось на историческом мифотворчестве. Кстати, показателем того, что государство повлияло на всплеск последнего, являются документы правительства, определившие новый статус кумандинцев, помещенные в начале упомянутого сочинения.

Следствием выделения теленгитов как самостоятельного этноса стало возрождение интереса и к этому этнониму. Этноним «теленгит» еще в XIX в. был распространен как самоназвание не только среди жителей Чуйской степи, но широко использовался в Горном Алтае и даже за его пределами. Посетивший Горный Алтай в 1842 г. П. Чихачев отмечал, что «западные и восточные алтайцы ничем не отличаются друг от друга и сами считают, что единственное отличие между ними определяется местом жительства. Восточные племена называют алтайцев, обосновавшихся западнее Катуни, «алтай-киши» или «Катунь-киши», тогда как последние именуют своих восточных собратьев «Чуя-киши». Примечательно, что те и другие называют себя «теленгитами» (Чихачев, 1974: 58). Показательно, что и потомки верхнеобских (позже кузнецких) телеутов также называли себя «теленгит».

Действительно, родовой состав современных теленгитов, алтай-кижи и кузнецких телеутов фактически тождественный, к тому же одноименные роды считаются кровнородственными. О широком распространении этнонима «теленгит» еще в XIX в. свидетельствует и пословица, записанная Г. Н. Потаниным, – так алтайцы говорили, что «Теленгитов больше, чем пегой березы». Бытовало ещё одно старинное выражение – «Шестьдесят туменов теленгитов», а так как каждый тумен равнялся 10 тыс. человек, то следовало, что теленгиты составляли население в 600 тыс. человек, т. е. когда-то они были очень многочисленны (Потанин, 1883: 9). Согласно же данным Гагемейстера, в середине XIX в. мужское население двух Чуйских волостей составляло 1500 человек, соответственно все население приблизительно насчитывало 7 500 человек (Гагемейстер, 1894: 19).

Если административные образования теленгитов XIX– начала XX в. в русских документах назывались «волостями», то все аборигенное население левобережья Катуни сохраняло административные названия, связанные с джунгарским периодом истории. Оно делилось на семь дючин, которые носили порядковые номера, а их население в русских документах именовалось «горные, зенгорские (джунгарские. – *Л. Ш.*), бийские калмыки». Этноним же «алтаец» русским документам того времени был не известен.

В русских документах XVIII в. территория дючин обозначалась как «зенгорские Канские, Каракольские волости», население которых, как и собственно западные монголы – ойраты, часто именовалось «калмыками», что отражало их политическую зависимость от Джунгарии и подверженность её культурному влиянию, хотя их язык был тюркский.

В отличие от этнонима «алтаец» этноним «теленгит» был известен русским в середине XVIII в. В переписке с русскими властями в 1756 г. помимо указания на подвластные им волости зайсаны отмечали свою этническую принадлежность. Так, зайсанами «теленгутов» назвали себя «Намук, Церин, Буктуш, Бурут, Боохол» (Самаев, 1991: 245), в другом документе некоторые из этих имен фигурируют как зайсаны «телеуцкого владения». Так свою этническую принадлежность определяли Буктуш, Брут (Бурут), Номык (Намки), к которым добавились имена Кутука и Номыкая (Самаев, 1991: 242). Получается, что в середине XVIII в. этнонимы «теленгут» и «телеут» еще были синонимами, широко использовались местной элитой и в первую очередь соотносились с «Каракольской волостью», в которой видными фигурами были Кутук и его брат Мамут. Эта волость располагалась за Семинским перевалом на левобережье Катуни и соотносилась с Центральным Алтаем.

Однако кроме «Каракольской волости» русские документы XVIII века выделяли в Горном Алтае и «Зенгорскую Канскую волость», которая локализовалась в Западном Алтае и формирование которой отличалось еще большей сложностью. Помимо теленгетской этнической основы, частично подвергшейся ойратской аккультурации, она содержала в себе еще один этнокультурный пласт. Это нашло отражение в том, как свою этническую принадлежность определяли родственники Омбо. В документах «Омбин брат… Омбин сын Болот» фигурируют как «уранхаевы зайсанги» (Самаев, 1991: 241). Учитывая наличие патрилинейности, можно утверждать, что и сам Омбо был «уранхайцем».

В разные периоды своего существования этот термин мог обозначать различную принадлежность той или иной группы населения: этническую, геополитическую, социально-экономическую, административно-территориальную. Поэтому столь важно определить внутреннее содержание термина (этнонима) «урянхай» на каждом конкретном историческом этапе существования того или иного этноса.

Исходя из русских документов в середине XVIII в. он обозначал достаточно обширную этнокультурную общность, захватывавшую не только западную часть горного Алтая, но и «урочище Уйман» (Потанин, 2013:169), где до ухода на Волгу кочевал зайсан Намжул (Наамжил), а также верховья Иртыша, где находились «владения» «уранхайских зайсанов» Гулчугая (Кулчугая), Бобоя, а впоследствии – Анжина и Хохоя.

Относительно времени начала урянхайской миграции из Прибайкалья в верховья Енисея и Иртыша можно только предполагать: это должно было произойти после походов Джучи в Южную Сибирь (1207 г.) и до начала русской колонизации. Эта миграционная волна накрыла территорию современной Тывы, Северо-Западной Монголии, дойдя до бассейна верхнего Иртыша, и распространилась на Западный Алтай. В результате нескольких волн миграций в этом регионе к середине XVIII в. еще не закончились аккультурационные процессы между урянхайскими группами, местной теленгетской основой и ойратскими (западно-монгольскими) этническими общностями. Подданные зайсана Омбы одновременно относили себя как к уранхайцам, так и к теленгутам, что свидетельствует о неустойчивости этнического самосознания и незаконченности аккультурации. К концу XIX в. «Канская и Каракольская волости» стали этнической основой современных алтай-кижи (Шерстова, 2015: 142–146).

В алтайских легендах рассказывается, что уцелевшие после гибели Джунгарского ханства и спасшиеся от китайского завоевания «ойроты и урянхаи стали называться алтайским народом», или о том, что «алтайские урянхаи после гибели Табачи (последний хан Джунгарии. – *Л. Ш.*) и бегства Амырсаны (джунгарский аристократ. – *Л. Ш.*) остались без правителя» (Алтайские исторические предания, 20015: 61, 63). Это, с одной стороны, соответствует русским письменным источникам середины XVIII в. и свидетельствует об осознании самими алтайцами (алтай-кижи)

сложности своего происхождения, а с другой – делает возможной реконструкцию двух основных этнических массивов, из которых к началу XX в. они сформировались.

Таким образом, на территории Западного Алтая и примыкающих к нему верховий Иртыша в XVIII в. существовала урянхайская общность, часть которой наряду с «теленгутской» («алтайской» – в легендах) вошла в состав алтай-кижи, что и подтверждается устной традицией. Так, легенда о Бооре закачивается тем, что нашедшие новую Родину – Алтай – карамайманы «соединились здесь на новом месте с другими сеоками-родами и вобрали в себя лучшие черты каждого. Называют же все они себя алтай-киши – алтайские люди, чтобы никому не было обидно, что одно племя себя выше других поставить хотело, потому что все мы – дети одного Алтая» (Алтайские исторические предания, 2015: 110.).

Нахождение в составе России, с одной стороны, приводило к уменьшению этнической территории, но это усиливало консолидационные процессы, стирая прежние культурные различия между «теленгутами» и «уранхаями». С другой стороны, минимальное вмешательство со стороны власти способствовало сохранению джунгарского политического и культурного наследия и усиливало консолидационные процессы, результатом чего и стало появление к началу XX в. нового этноса, который не был ни теленгутами, ни урянхайцами и который принял новый этноним – алтай-кижи (Шерстова, 2005: 202–208).

Однако в конце XX в. частью населения Республики Алтай стало высказываться мнение о распространении этнонима «теленгиты» на все население бассейна Катуни, что было встречено неоднозначно. Возможно, это было следствием сохранения памяти о тяжелых последствиях джунгаро-китайской войны 1753–1756 гг. и набегов казахов, когда значительная часть населения Горного Алтая оказалась в плену. Пленных было так много, что произошло переосмысление этнонима «теленгит» – в XVIII–XIX вв. он стал обозначать зависимое население (Землеведение Азии Карла Риддера, 1877: 371), что придало ему негативный оттенок в глазах значительного числа жителей Горного Алтая и стремление отказаться от возможности его современного использования. Тем более, что в широких слоях уже закрепился этноним «алтай-кижи», «алтайцы».

В настоящее время этноним «теленгит» по-прежнему является самоназванием населения бывших «Чуйских волостей». На осмысление теленгитами своего места среди населения Горного Алтая и, соответственно, сохранение этого этнонима влияло несколько факторов. С одной стороны, культурная близость, общий родовой состав с алтай-кижи, наличие вплоть до начала XX в., с некоторыми оговорками, общего этнонима «теленгит» способствовали сохранению общего консолидационного потенциала. Но, с другой стороны, включение в свой состав какой-то части саянских мигрантов, оседавших по пути следования вниз по Катуни и проникавших в начале XVII в. в верхнее Приобье, и взаимодействие с ними привели к накоплению сойонского (тувинского) комплекса этнокультурных признаков у местных теленгитов. Сохранение шаманских традиций, принятие значительной частью населения Чолушмана и Башкауса православия, а также постоянные контакты с ламаистами Монголии и Тувы, неприятие бурханизма обособляли теленгитов Юго-Восточного Алтая от теленгитов (теленгутов, т. е. предков алтай-кижи) левобережья Катуни. Политические события, связанные с включением «теленгутов» и «уранхаев» в состав России в 1756 г. и сохранением до 1864 г. чуйскими теленгитами статуса российско-китайских двоеданцев, существенно повлияли на осознание своей особости обеими близкородственными группами.

В настоящее время относительно народов Горного Алтая термин «алтайский» может быть использован в нескольких значениях: либо как политоним («граждане Республики Алтай»), либо как указатель их географического местообитания, либо как этноним одного из народов Горного Алтая – алтай-кижи. Создание в 1922 г. Ойротской автономной области в Горном Алтае имело менее искусственный характер, нежели образование, например, Горно-

Шорского национального района. Помимо реализации политики национального строительства в Сибири оно было логическим продолжением пробной реализации принципа политического оформления сложившегося к началу XX в. алтайского этноса в виде недолгого существования Алтайской Горной и Каракорумской Дум периода Гражданской войны. Само название автономии – Ойротская – явилось следствием прямого влияния бурханизма, национальной религии алтай-кижи, с его ярко выраженными ойратскими (джунгарскими) реминисценциям. Однако географические рамки национальной автономии оказались гораздо шире этнической территории алтай-кижи (собственно алтайцев). В состав Ойротии, кроме русского населения и южноалтайских этнических общностей (алтай-кижи, теленгитов и телеутов), были включены северные алтайцы: челканцы, кумандинцы, тубалары, по всем этнопоказательным характеристикам вплоть до языка, этногенеза, исторических взаимоотношений с Россией, более тяготевшим к Шории, Хакасии, средней Томи. Следовательно, Горно-Алтайская автономия изначально оказалась достаточно рыхлым, гетерогенным образованием, что и проявилось уже в конце XX в. в виде возникшей проблемы утверждения общеалтайской идентичности.

Как любая горная страна, Алтай полиэтничен и поликультурен. Попытки искусственно свести все этнокультурное разнообразие Горного Алтая к одному этносу, с научной точки зрения, неубедительны и могут иметь негативный общественный резонанс или даже гораздо более серьезные последствия. Следует также обратить внимание на то, что, согласно материалам Н. Тадиной, «алтай-кижи (т. е. собственно алтайцы. – *Л. Ш.*) из бурханистских мест считают себя «настоящими» и называются «су-кижи» (Тадина, 2005: 43).

Алтайские материалы указывают на еще одну модель конструирования идентичности уже в виде конфессиональной принадлежности и, таким образом, ставят проблему о возможности возникновения национальных религий как конфессиональных конструктов уже в наше время.

Оформление этноса алтай-кижи в начале XX в. сопровождалось возникновением и распространением в их среде эндогенной религии – бурханизма. Будучи элементом этнической идентичности части коренного населения Горного Алтая, бурханизм продолжал эволюционировать на протяжении всего XX в. И если в советский период истории он поддерживался на семейном уровне, будучи неотъемлемой частью повседневной культуры алтай-кижи и, соответственно, достаточно закрытым для иноэтничного и иноконфессионального окружения явлением, то в 1990-е гг. в условиях кризиса советской идентичности и поиска новых этнических ориентиров он вышел за пределы аила. Более того, в перестроечные и постперестроечные годы интерес к бурханизму преодолел академические барьеры и стал предметом живого обсуждения среди алтайской общественности.

На базе разрозненных сведений о бурханизме в 1990-е гг. в алтайской среде возникло два общественно-религиозных движения: «Ак-Бурхан» и «Ак-Дьан», приверженцы которых находятся в сложных отношениях между собой. Оба названия восходят к началу XX в., когда возникшее в Горном Алтае религиозное движение русские назвали «бурханизмом», сами же его последователи – «ак-дьан» («белая вера»). То, что оба современных движения произошли из одного источника и носят соответствующие названия, указывает на значимость бурханистских идей в сегодняшнем алтайском обществе и на то, что за сто лет с момента его провозглашения он по-прежнему остается развивающимся комплексом идей и настроений (Шерстова, 2013: 243–250).

В связи с этим показательным оказалось проведение Институтом алтаистики (Горно-Алтайск) в 2004 г. научной конференции, посвященной столетию молений в долине Тёрёнг, когда бурханизм открыто заявил о себе вовне. Конференция имела широкий общественный резонанс в Республике Алтай. Широкое обсуждение причин появления бурханизма продолжается и сейчас. В 2012 г. в Горно-Алтайске Буддийская традиционная сандха России провела конференцию «Бурханизм на Алтае: история и современность», на которой утверждалась мысль о бурханизме

как одной из форм буддизма. Такой подход свидетельствует о попытках конструирования частью алтайской интеллигенции буддийской идентичности алтайцев, включая их в мировое пространство этой мировой религии (Бурханизм на Алтае: история и современность, 2012: 11).

Следует заметить, что в 1990–2000-е гг. стали появляться работы, слишком расширительно и произвольно трактующие бурханизм. Примером может служить монография В. Я. Бутанаева «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» (Бутанаев, 2002). Под «бурханизмом» автором понимаются архаичные, дошаманские, универсальные верования, присущие тюркоязычному населению этого региона (Южно-Сибирского этнокультурного ареала), но они являются только одним (и не ведущим) из элементов бурханистской идеологии алтай-кижи. Знакомство с этой работой В. Я. Бутанаева вскрывает сам процесс конструирования конфессиональной идентичности как искусственного наполнения традиционными религиозно-мифологическими сюжетами хакасской этнографии привнесенного извне названия иноэтничного феномена. В результате «воссоздается» якобы когда-то уже существовавшая у хакасов своя национальная религия, которая в условиях достаточно рыхлой этнической идентичности должна была выполнить функцию дополнительных внутриэтнических стяжек. Но в силу ряда причин этого не могло произойти и не произошло.

Не меньшие возражения вызывают попытки Н. Тадиной представить бурханизм как стремление части населения Горного Алтая сохранить традиционный образ жизни, который, по её мнению, включает в себя знание родного языка и происхождение из алтайского, а не смешанного села (Тадина, 2005: 43-44). При этом автором игнорируется понимание бурханизма как развивающейся идеологии. Бурханизм начала XX в. существенно отличается от современных бурханистских представлений и настроений. В начале XX в. проблема сохранения традиционной культуры алтайцев не стояла, а «смешанные села» представляли собой немногочисленные миссионерские станы на левобережье Катуни, где в 1904 г. и обозначился очаг бурханистского движения. В разгар молений, действительно, некоторые последователи «новой веры» отвергали товары русского производства. Подобные действия алтайцев начала XX в. имеют прямые аналогии в милленаристских движениях, в частности, с «культом Карго» меланезийцев. Однако в бурханизме эти действия демонстрировали, акцентировали этническое и конфессиональное противостояние формирующегося этноса окружающему миру. В настоящее же время актуальной является проблема сохранения традиционной культуры в противовес унификации и глобализации, и такие настроения имеют характер универсального межцивилизационного конфликта.

При этом следует заметить, что современное понимание бурханизма в центральных и западных районах Южного Алтая (этническая территория алтай-кижи) различается. Наиболее явственно это проявилось, во-первых, в попытке выбрать место для постоянно действующего бурханистского центра, которое сопровождалось бы ярко выраженными маркерами. Население с. Кырлык (Усть-Канский район РА) отказалось устанавливать в долине Тёрёнг новые куре на том основании, что сама долина священна и не требует дополнительных атрибутов. Кроме того, некоторые бурханисты считают, что молиться человек может в любом месте, почувствовав потребность в этом. И для этого не требуется каких-либо искусственных сооружений: все, что окружает алтайца-бурханиста, является храмом. Появление же современных куре в Онгудайском и Шебалинском районах РА объясняется тем, что там почти не сохранились куре начала XX в., а бурханизм там в начале XX в. достаточно не укоренился. Таким образом, в начале XXI в. в Горном Алтае протекает «вторичная бурханизация», что отражает продолжение процесса закрепления конфессиональной идентичности среди части населения. Во-вторых, проникновение бурханизма в ментальность алтай-кижи Западного Алтая настолько глубоко, что они отказались от попыток проведения республиканских мероприятий в долине Тёрёнг по причине ее сакральности, сохранив ее первозданность и оберегая от коммерциализации.

И если коренное население Горного Алтая и Хакасии, а вернее, часть их интеллигенции, конструирует конфессиональную и этническую модели идентичности, то в Якутии делаются попытки актуализировать общетюркскую идентичность, в частности, через «возрождение» некогда общей религии своих предков – тенгрианства. Следует отметить, что интерес к нему существует у всех тюркоязычных народов, и не только Сибири. Однако в Якутии, как отмечает У. И. Винокурова, проведение Ёрдынских игр стало одним из «сибирских проектов» Якутии и «относится к… ряду конструирования общей культурной памяти» народов и «племен, проживающих около озера Байкал». Игры, собирающие несколько тысяч участников, проводятся на о. Ольхон и приурочиваются к шаманскому тайлагану. Главным событием на играх является многодневный круговой танец – ехор – вокруг священной сопки Ехе Ерд. Как отмечал министр культуры и духовного развития Республики Саха А. С. Борисов, на Третьих Ёрдынских играх, прошедших в 2011 г., «с начала 90-х. гг. прошлого столетия в Сибири повсеместно начался процесс восстановления тенгрианской традиции… во всех долинах Сибири проводятся тенгрианские моления – кумысные, молочные обрядовые праздники. В Якутии – Тунах Ысыах, Хакасии – Тун Пайрам, Горном Алтае – Яжылган, Туве – Оваа Дагыыры и др. Это результат 20-летнего пробуждения Небесного Духа Сибири. Это результат объединительного процесса многонационального народа Сибири, который, прежде всего, начался с единения, собственно, самих народов Сибири...» (Винокурова, 2011: 187).

И Ёрдынские игры, и выступления их участников демонстрируют стремление к конструированию частью тюркоязычной элиты народов Сибири общетюркской идентичности, в основе которой лежит «своя, тюркская» религия – тенгрианство, якобы бывшая государственной религией их общих предков – древних тюрков. И хотя почитание Тенгри гуннами и древними тюрками очень слабо и лапидарно отражено в источниках, для создания тенгрианского конструкта это неважно. Более того, здесь проявляется та же тенденция в конструировании конфессиональной идентичности, которая отражена в работах В. Я. Бутанаева, – важно, чтобы закрепилось как идентификационный признак само название феномена, а его содержание будет наполнено привычными представлениями и ритуалами. В таком виде совсем недавно сконструированная идентичность получает легитимность через установление её связи с «великим прошлым» и достаточно легко может какое-то время удерживаться в этнической среде за счет привычных обрядовых действий и верований.

В неменьшей степени стремление якутской интеллигенции к конструированию общетюркской идентичности проявилось в ещё одном «проекте» – создание фильма «Тайна Чингисхана». По мнению У. И. Винокуровой, и этот проект был нацелен «на консолидацию исторической памяти и на создание современных общих культурных ценностей творческой элитой сибиряков. Процесс создания фильма был воспринят с воодушевлением в различных регионах Сибири, что свидетельствует о востребованности солидаризирующих ценностей» (Винокурова, 2011: 186). Поиски «солидарности» и есть не что иное, как желание создания общей для всех тюркоязычных и шире – тюрко-монгольских народов Сибири идентичности, т. е. конструирование центрально-азиатской идентичности, инициатором которого выступила часть якутской интеллигенции.

При этом не имеет значения реальная история создания империи Чингисхана в результате войн и покорения предков современных сибирских народов, не значима даже этническая принадлежность Темучина. История выступает лишь в качестве своеобразного резервуара, из которого черпаются компоненты современных квазиисторических идентичностей. Историческое прошлое при конструировании общетюркской (центрально-азиатской) идентичности выполняет ту же роль, которую оно в начале XX в. сыграло при создании бурханизма в Горном Алтае. Идеализированное прошлое иноэтничных государств осмысливается как собственное «великое прошлое», а деяния чужих завоевателей – как героические поступки своих предков. Новым является то, что если бурханизм совмещал конфессиональную и историческую идентичность, закрепляя ее за одним этносом, то тенгрианство и «эпоха Чингисхана» становятся не только общим культурным наследием тюркских народов Сибири, но и тем «строительным

материалом», из которого конструируется общетюркская и шире – центрально-азиатская идентичность тюрко-монгольских народов Сибири.

Условиями для конструирования современных идентичностей народов Сибири выступила совокупность факторов – политические и социально-экономические изменения в России с конца 1980-х гг., отказ от общесоветской идентичности и от устоявшегося советского списка наименований национальностей, возникновение национальных движений и организаций аборигенных народов Сибири. Особое значение в актуализации значимости этнической идентичности имели законы Российской Федерации, и прежде всего федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 1999 г. В отличие от традиционного общества, в котором конструирование идеальных феноменов носило коллективный характер, в современности это стало возможным для представителей национальной элиты и на индивидуальном уровне. Современные идентичности сибирских народов представлены разными моделями – родовой, этнической, конфессиональной (как в форме национальных религий, так и в виде общетюркской – тенгрианство), региональной, надэтнической (общетюркская и даже – центрально-азиатская).

Формирование же общероссийской идентичности наталкивается на серьезные проблемы. Во-первых, в сознании многих людей она «противоречит» этнической. Хотя советский период сопровождался созданием национальных автономий даже у тех народов, которые не могли полностью воспользоваться ее преимуществами, да еще в условиях жестко централизованного советского государства, тем не менее такая политика привела к укреплению этнического сознания. Во-вторых, те сибирские этносы, которые получили автономии, продолжили свое этническое развитие в рамках определенных государством территорий, что привело к укреплению осмысления ее как этнической, а следовательно, закрепило представление о своих этнокультурных границах. Под влиянием политики государства произошло совмещение этнической и территориальной границ, т. е. произошла политизация этнического сознания, и советская автономия стала восприниматься как образ (псевдообраз) собственной государственности. В-третьих, несмотря на противоречивость советского периода, продолжались консолидационные процессы среди сибирских народов. То, что исчезала собственная материальная культура, трансформировалось традиционное хозяйство, не является обязательным условием затухания этнической консолидации. Этнические характеристики все больше сосредотачивались в духовной сфере. В этническом сознании формирующиеся представления «о себе», о «своей особости как народа», приобретали символическое, иррациональное содержание, сопряженное с эмоциональным их восприятием, которое не менее жестко разграничивает «своих и чужих».

Способами для конструирования идентичностей стали обращение к историческому прошлому, которое предстает как идеализированное и легитимное, актуализация тех культурных элементов традиционной культуры, которые исчезают либо сильно деградированы, но которые способны выполнять этноразделительные функции. Таким образом, традиционная, даже утерянная, но восстанавливаемая благодаря сохранившимся коллекциям музеев и переизданию этнографических работ авторов прошлого культура и историческое прошлое становятся безграничными ресурсами для конструирования современных разнообразных идентичностей. Абсолютно новой является попытка через обращение к общему историческому прошлому конструирования надэтнических идентичностей прежде всего тюркоязычными народами Сибири. Главным в конструировании новых идентичностей становится определенная заданность в трактовке прошлого, актуализация того, что направлено на позитивное их содержание, что свидетельствует о дальнейшем развитии сибирских этносов и их стремлении утвердиться в меняющемся мире.

Список литературы

Алтайские исторические предания Ойротской эпохи / гл. ред. Б. Я. Бедюров. Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО», 2015. 205 с.

Анжиганова Л. В. Этнокультурное пространство Республики Хакасия: основные проблемы. Противоречия и субъекты развития // Население Сибири: межнациональные отношения, образование и культурная идентичность. Омск: Полиграф. центр КАН, 2011. С. 202.
Бурханизм на Алтае: история и современность // Материалы науч.-практ. конф. Горно-Алтайск, 2012. 159 с.
Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2002. 166 с.
Винокурова У. И. Объединяющие ценности сибирской идентичности // Население Сибири: межнациональные отношения, образование и культурная идентичность. Омск: Полиграф. центр КАН, 2011. С. 186.
Гагемейстер Г. Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1854. Ч. 2. 196 с.
Октябрьская И. В., Озонова А. Б., Нечипоренко О. В., Посух О. Л. Коренные малочисленные народы Республики Алтай на пороге XXI века: проблемы этнической идентичности // Российская Западная Сибирь – Центральная Азия: региональная идентичность, экономика и безопасность. Барнаул, 2005. С. 463–467.
Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. М., 1882. Т. IV. 1042 с.
Потанин Г. Н. Пространства Северного Казахстана и Сибири по документальным публикациям. Томск: ТГУ, 2013. 314 с.
Самаев Г. П. Горный Алтай в XVII – середине XIX в.: проблемы политической истории и присоединение к России. Горно-Алтайск, 1991. С. 28 – 29.
Тадина Н. А. Этническая консолидация и преемственность поколений в осмыслении бурханизма // ЭО. 2005. № 4. С. 43–44.
Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. Возрожденный зайсанат глазами алтайцев // Сибирь, Центральная Азия и Дальний Восток: актуальные вопросы истории и международных отношений. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2009. С. 51–52.
Тукмачев-Соболеков Л. М. У истоков древнего Алтая. Бийск, 2001. 120 с.
Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века. Новосибирск, 2005. 312 с.
Шерстова Л. И. Бурханизм и проблема новых идентичностей народов Горного Алтая // Мировоззрение населения южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. С. 243–250.
Шерстова Л. И. Этнокультурные общности Горного Алтая в XVII–XVIII веков: этническая идентичность в историческом контексте // Вестн. Томского гос. ун-та. № 395. 2015. С. 142–146.

Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор.
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: sherstova58@mail.ru

Материал поступил 25.02.2016

Sherstova L. I.

IN SEARCH OF YOURSELF: "NEW" IDENTITIES OF MODERN TURKIC LANGUAGE PEOPLES OF SIBERIA

The article examines conditions and mechanisms of formation of different models of collective identities of Turkic language peoples of Siberia at the end of the 20th century – at the beginning of the 21th century. The article demonstrates the importance of archaic social institutions as an initial stage of modeling of clan identities. The link between the ethnic processes and the emergence of ethnic models of identities is emphasized. The incompleteness of ethnic consolidation is reflected in the desire to abandon the artificial ethnonyms and the search of new ones. The article shows the importance of confessional identity as an additional factor for the strengthening of feebly marked ethnic identity. Moreover, the article reveals the importance of historical (quasi-historical) memory for the construction of different models of identities and also for construction "All-Turkic" ("Central Asian") model of identity.

Key words: *identity, ethnic identity, Turkic language peoples of Siberia, historical memory, clan, ethnonim, religion, ethnic processes, construction*.

References

Altayskie istoricheskie predaniya Oyrotskoy epokhi [Altai historical legends in Oyrotia period]. Ed. by B. Ya. Bedyurov. Novosibirsk, Akademicheskoe izdatel'stvo «GEO» Publ., 2015. 205 p. (in Russian).
Anzhiganova L. V. Etnokul'turnoe prostranstvo Respubliki Khakasiya: osnovnye problemy. Protivorechiya i sub"ekty razvitiya [Ethnic-cultural space of the Republic of Khakassia: main problems. Contradictions and development actors]. *Naselenie Sibiri: mezhnatsional'nye otnosheniya, obrazovanie i kul'turnaya identichnost'* [Population of Siberia: interethnic relations, education and cultural identity]. Omsk, Poligraficheskiy tsentr KAN Publ., 2011. P. 202 (in Russian).
Burkhanizm na Altae: istoriya i sovremennost' [Burkhanism in Altai: history and the present]. *Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Proceedings of the theoretical and practical conference]. Gorno-Altaisk, 2012. 159 p. (in Russian).
Butanaev V. Ya. Burkhanizm tyurkov Sayano-Altaya [Burkhanism of Turkic peoples of Sayano-Altai]. Abakan, 2002. 166 p. (in Russian).
Vinokurova U. I. Ob"edinyayushchie tsennosti sibirskoy identichnosti [Unifying values of Siberian identity]. *Naselenie Sibiri: mezhnatsional'nye otnosheniya, obrazovanie i kul'turnaya identichnost'* [Population of Siberia: interethnic relations, education and cultural identity]. Omsk, Poligraficheskiy tsentr KAN Publ., 2011. P. 186. (in Russian).
Gagemeister G. Statisticheskoe obozrenie Sibiri [Statistical review of Siberia]. St. Petersburg, 1854. Part. 2. 196 p. (in Russian).
Oktyabr'skaya I. V., Ozonova A. B., Nechiporenko O. V., Posukh O. L. Korennye malochislennye narody Respubliki Altay na poroge XXI veka: problemy etnicheskoy identichnosti [Small-numbered indigenous people of the Republic of Altai on the threshold of the 21th century: problems of ethnic identity]. *Rossiyskaya Zapadnaya Sibir' – Tsentral'naya Aziya: regional'naya identichnost', ekonomika i bezopasnost'* [Russian Western Siberia – Central Asia: regional identity, economics and security]. Barnaul, 2005. Pp. 463–467 (in Russian).
Potanin G. N. Ocherki Severo-Zapadnoy Mongolii [Essays on North-western Mongolia]. Moscow, 1882. Vol. 4. 1042 p. (in Russian).
Potanin G. N. Prostranstva Severnogo Kazakhstana i Sibiri po dokumental'nym publikatsiyam [Territory of Northern Kazakhstan and Siberia on the materials of documentary publications]. Tomsk, Tomskiy gosudarstvennyy un-t Publ., 2013. 314 p. (in Russian).
Samaev G. P. Gornyy Altay v XVII – seredine XIX v.: problemy politicheskoy istorii i prisoedinenie k Rossii [Gorny Altai in the 17th – middle of the 19th centuries: problems of political history and joining to Russia]. Gorno-Altaisk, 1991. Pp. 28–29 (in Russian).
Tadina N. A. Etnicheskaya konsolidatsiya i preemstvennost' pokoleniy v osmyslenii burkhanizma [Ethnic consolidation and generational continuity in research on Burkhanism]. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic review*, 2005, vol. 4, pp. 43–44 (in Russian).
Tadina N. A., Yabyshtaev T. S. Vozrozhdennyy zaisanat glazami altaytsev [Reborn Zaysanat in view of Altai peoples]. *Sibir', Tsentral'naya Aziya i Dal'niy Vostok: aktual'nye voprosy istorii i mezhdunarodnykh otnosheniy* [Siberia, Central Asia and Far East: current questions of history and international relations]. Barnaul, Izd-vo Altayskogo gosudarstvennogo un-ta Publ., 2009. Pp. 51–52 (in Russian).
Tukmachev-Sobolekov L. M. U istokov drevnego Altaya [Cradle of ancient Altai]. Biisk, 2001. 120 p. (in Russian).
Sherstova L. I. Tyurki i russkie v Yuzhnoy Sibiri: etnopoliticheskie protsessy i etnokul'turnaya dinamika XVII – nachala XX veka [Turkic and Russian peoples in Southern Siberia: ethnopolitical processes and ethnocultural dynamic during the 17th – beginning of the 20th centuries]. Novosibirsk, 2005. 312 p. (in Russian).
Sherstova L. I. Burkhanizm i problema novykh identichnostey narodov Gornogo Altaya [Burkhanism and the problem of new identities of the peoples of Gorny Altai]. *Mirovozzrenie naseleniya yuzhnoy Sibiri i Tsentral'noy Azii v istoricheskoy retrospektive* [The worldview of the population of the South Siberia and Central Asia in the historical retrospection]. Barnaul, Izd-vo Altayskogo gosudarstvennogo un-ta Publ., 2013. Pp. 243–250 (in Russian).
Sherstova L. I. Etnokul'turnye obshchnosti Gornogo Altaya v XVII–XVIII vv.: etnicheskaya identichnost' v istoricheskom kontekste [Ethnocultural communities in Gorny Altai during the 17th – 18th centuries: ethnic identity in historical context]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Bulletin,* 2015, no. 395, pp. 142–146 (in Russian).

Sherstova L. I.
National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: sherstova58@mail.ru

Рудковский И. В.

ОБ АРЕАЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИГУР АНДРОНОВСКОЙ ОРНАМЕНТИКИ

Излагаются результаты исследования процесса изменения состава орнаментального супертекста андроновской культурно-исторической общности (АКИО). Исследование осуществлялось в территориальном, культурном и отчасти хронологическом контекстах. В качестве наиболее чувствительных маркеров этого процесса предлагается считать такие группы орнаментальных фигур, как «ромбы», «ступенчатые пирамидки», «свастические» и «сибирский меандр». Исследование проводилось в рамках проблемы генезиса андроновских культур. Предполагалось, что степень концентрации выделенных фигур на карте АКИО сможет маркировать области формирования алакульской и, главное, фёдоровской археологических культур.

Ключевые слова: *андроновская орнаментика, генезис, эпицентры происхождения, регионы распространения, доандроновские орнаментики*.

Когда объектом археологических исследований становятся такие грандиозные образования, как андроновская культурно-историческая общность, неизбежно и естественно возникает проблема эпицентра, откуда, собственно, и могло пойти распространение этого археологического феномена. Проблема решалась бы несколько проще, имей мы дело с одной и единой археологической культурой. Однако в рамках АКИО на данный момент выделены две, хоть и глубоко родственные, но, безусловно, во многом автономные археологические культуры: алакульская и фёдоровская. *Это первый аспект проблемы.*

Памятники фёдоровской культуры широко распространены по всей территории АКИО – от Южного Урала до Енисея в широтном измерении и от южной тайги до северных предгорий Памира, Алтая и Саян в меридиональном измерении. «Алакульская ойкумена» совпадает в основном с фёдоровской, за исключением пространства от правобережья Иртыша до Енисея, где до сих пор не обнаружено ни одного алакульского памятника.

Происхождение алакульской культуры исследователи практически единодушно связывают с южноуральским регионом, где абашевские, синташтинские и петровские древности определенно содержат все важнейшие элементы, сформировавшие более позднюю алакульскую культуру (Григорьев, 2015). С генезисом фёдоровской культуры подобной определенности нет. Существуют несколько гипотез о месте ее происхождения. Такими эпицентрами предполагаются либо Южный Урал, либо Центральный Казахстан (Кузьмина, 2008), либо Прииртышье Восточного Казахстана с прилегающими к нему территориями Северного Алтая (Ткачёва и др., 2008; Ткачёв, 2010). Однако эти варианты не обладают той силой аргументации, которая свойственна гипотезе о прародине «алакульцев». В частности, явно недостаточно оснований для расслоения фёдоровских комплексов на более ранние и более поздние. Последнее обстоятельство не позволяет пока построить эволюционный ряд трансформации фёдоровского компонента АКИО. *Это второй аспект проблемы, связанной с генезисом АКИО.*

Среди аргументов, используемых для «вычисления» андроновского эпицентра (или эпицентров) и траекторий распространения алакульцев и фёдоровцев, использовались и используются многие виды источников. В данной статье излагаются результаты наблюдений с элементами статистического анализа за распространением некоторых значимых элементов андроновской орнаментики.

Предположим, что наиболее значимые фигуры андроновских орнаментов должны встречаться там, где они появились еще в доандроновские времена. Как это выяснить? Вероятно, используя всю информацию об андроновской орнаментике, необходимо, во-первых, постро-

ить картографию распространения тех или иных элементов от Урала до Енисея. Второе – экстраполировать полученную карту на доандроновские культурные образования этих территорий с целью определить «орнаментальных предтечей» андроновских культур, ибо логично предположить, что андроновские орнаменты не возникли на пустом месте.

Итак, какой источниковой базой мы располагаем? На сегодняшний день известно около 450 первичных андроновских орнаментов, а точнее, андроновских орнаментальных бордюров (Рудковский, 2013). Основной вопрос здесь – что надлежит делать с этим массивом орнаментальных единиц, или, другими словами, отслеживаем ли мы распределение этого массива в целом по культурам, территориям и временам, как это уже попытались сделать некоторые исследователи (Максименков, 1978) или выбираем для анализа только некоторую, но наиболее чувствительную к изменениям часть андроновской орнаментики?

Второй вариант предпочтительней по одной, но существенной причине: большинство фигур андроновской орнаментики использовалось на всех территориях как «алакульцами», так и «фёдоровцами». К таковым следует отнести, к примеру, прямые замкнутые в периметр линии, равнобедренные зигзаги, заштрихованные треугольники, меандры, уточки, ряды наклонных отрезков и некоторые другие. Таким образом, они не могут рассматриваться как дифференцирующие. Помимо упомянутых широко распространенных фигур в андроновских орнаментах есть достаточно большая группа «эндемиков» – оригинальных элементов, которые встречаются либо только в одном небольшом микрорайоне, либо вообще в единственном экземпляре. Вероятно, наибольший интерес должна представлять третья группа фигур из андроновского каталога – назовем их группой переменных (рис. 1). В эту группу входят: базовые фигуры бордюров в виде ромбов и собственно бордюры, составленные из этих ромбов (рис. 1, *А*); «ступенчатые пирамидки» (рис. 1, *Б*); свастики и «свастические» (рис. 1, *В*), а также, назовем его так, «сибирский меандр» (рис. 1, *Г*). Особенностью этой группы орнаментальных фигур является то, что, с одной стороны, они не являются эндемиками (из-за достаточно широкого распространения), а с другой стороны, их территориальное распределение весьма необычно. Рассмотрим характер этой неравномерности.

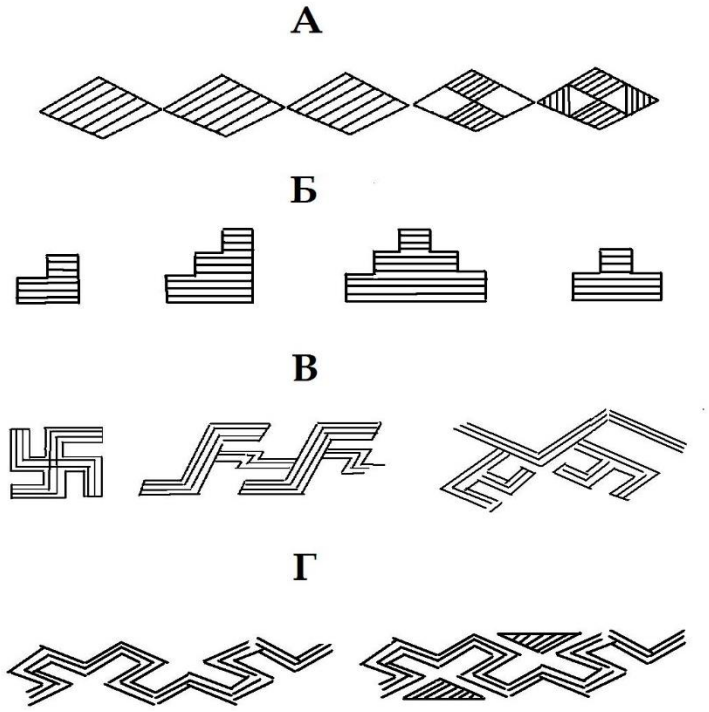


Рис. 1. Фигуры андроновской орнаментики: А – ромбы, Б – ступенчатые пирамидки, В – «свастические», Г – «сибирский меандр»

Ромбы. В орнаментиках доандроновских археологических культур ромбы, уже как относительно регулярное явление, начинают фигурировать в энеолите Южного Урала (Матюшин, 1982: табл. 78, *10*; 79, *5*) и Северного Казахстана (Мартынюк, 1985: рис. 3; Мосин и др., 1985: рис. 3, *5, 6*). Эпизодически ромбы встречаются и ранее – в поздненеолитических орнаментиках Среднего Зауралья (Ковалёва и др., 2008: рис. 8, *9*). В начале эпохи бронзы ромбы становятся обычными элементами в абашевской (Кузьмина, 1992: рис. 10) и синташтинской (Ткачёва и др., 2006: рис. 24) культурах. В петровской культуре, однако, ромб встречается довольно редко (Ткачёв, 2002, ч. 1: рис. 8, *7*). В «классических» андроновских культурах распределение композиций, составленных с использованием ромбов, представляет собой небезынтересную систему.

В урало-тобольском пространстве ромбы регулярно встречаются как в алакульских, так и в фёдоровских орнаментах. Точное соотношение определить пока нельзя, так как количество исследованных (а главное, опубликованных) алакульских комплексов значительно больше, чем фёдоровских. Тем не менее есть несколько интересных наблюдений. В Лисаковском алакульско-фёдоровском могильнике (Усманова, 2005) количество ромбов на сосудах обеих групп составляет соответственно 4 и 6 % (здесь и далее вычисляемый процент – это количество сосудов с орнаментами, содержащих в орнаментах ромбы, по отношению к общему количеству сосудов данной серии). В могильнике Урефты I (Стефанов и др., 2006) это соотношение составляет – 6,5 и 5 %, т. е. по этим двум представительным памятникам можно *предположить*, что алакульские и фёдоровские орнаменты по использованию в них ромбов сопоставимы. Что касается алакульских орнаментальных комплексов (из могильников) урало-тобольского региона в целом, то статистика по использованию в них ромбов следующая. Алакульский – 2,5 %, Тасты-Бутак – 4 % (Андроновская культура, 1966), Чистолебяжский – 15 %, Хрипуновский – 6,2 % (Матвеев, 1998), Раскатиха – 8,2 %, Верхняя Алабуга – 1,5 % (Потёмкина, 1985), Черняки I – 22 % (Кузьмина, 2008). Аномальными в этом ряду выглядят комплексы могильников Чистолебяжский и Черняки I. Остальные сопоставимы в достаточно узком семипроцентном диапазоне. *Среднее содержание ромбов в алакульских орнаментальных комплексах Урало-Тоболья пока составляет 7,6 %, а в фёдоровских – 5,5 %. Для сравнения: средний показатель по ромбам в синташтинских комплексах (мог. Танаберген II, Каменный амбар V, Синташтинский Могильник, Большекараганский и Кривое Озеро) – 8,4 %.*

Восточнее, на Ишиме, ромбы в орнаментах на керамике впервые фиксируются в энеолитической ботайской культуре. В последующее время, уже непосредственно перед началом андроновской эпохи, мы наблюдаем полное или почти полное исчезновение этого орнаментального элемента в памятниках петровской культуры. Ромбы вновь появляются в раннеалакульских памятниках типа Берлик и Аксайман (Зданович, 1988: рис. 33). В то же время мы не наблюдаем в этом регионе присутствия синташтинских памятников, в чьих орнаментах ромб встречается регулярно. Ишимские андроновские памятники располагают небольшим количеством репрезентативных орнаментальных серий, но содержание в них ромбов довольно сильно отличается от урало-тобольских. Так, в орнаментах алакульских могильников Семипалатное, Амангельды (Зданович, 1988) и Балыкты (Ткачёв, 2002, ч. 2) содержание ромбов соответственно 12,5; 21,2 и 18 %. В могильнике Куропаткино II (Бухонина, 1984) – 20,5 %. На этом фоне могильник Ижевский I выглядит исключением – ромбов здесь только 4 %. Единственный репрезентативный фёдоровский памятник Приишимья – могильник Боровое (Оразбаев, 1958). Здесь мы впервые сталкиваемся с фактом полного отсутствия ромбов в фёдоровской орнаментальной серии – 0 %. Впрочем, в поселенческих материалах (Бишкуль IV) и в некоторых небольших сериях из могильников (Бурлук) ромбы встречаются (Зданович, 1988: рис. 2 и 36). Исходя из имеющегося опубликованного материала можно предположить резкое увеличение присутствия ромбов в алакульских орнаментах Приишимья (по сравнению с Уралом и Тоболом) и столь же заметное их уменьшение в орнаментах фёдоровских. *Среднее содержание*

ромбов в алакульских орнаментальных комплексах Прииишимья пока составляет 18 %. По фёдоровским комплексам доверительной статистики нет.

Обширная территория Сарыарки (Центральный Казахстан) отличается высокой насыщенностью андроновскими памятниками. При этом репрезентативные серии орнаментов получены только из алакульских (атасуских) могильников. Высокое содержание ромбов отмечено в орнаментах из могильников Нуртай (11 %) (Ткачёв, 2002, ч. 2), Майтан (18,7 %) и Ташик (11,2 %) (не опубликованы). В сериях из могильников Бозенген, Шапат (Ткачёв, 2002, ч. 2) и Тегизжол (Варфоломеев, 2007) проценты значительно ниже – соответственно 5,7; 1 и 1,8 %. Какую-либо динамику в использовании ромбов в фёдоровских (нуринских) орнаментах данного региона проследить очень сложно из-за крайне малых выборок. Но отметим, что ромбы у фёдоровцев Сарыарки, хоть и в малых количествах, встречаются. Согласно таблицам А. А. Ткачёва в фёдоровских поселенческих комплексах содержание ромбов везде в пределах одного процента (Ткачёв, 2002, ч. 1), а в могильных комплексах они отсутствуют вовсе. В контексте проблемы андроновского генезиса следует особо отметить, что каких-либо культурных предшественников как алакульцев, так и фёдоровцев в Центральном Казахстане пока не обнаружено. Практически единственный здесь доандроновский керамический комплекс из могильника Карагаш (Евдокимов и др., 1989) явно ямно-афанасьевского облика и морфологически никак не сопоставим с андроновскими древностями на любой стадии их формирования. *Среднее содержание ромбов в алакульских орнаментальных комплексах Сарыарки пока составляет 8,2 % (на уровне синташтинских показателей). По фёдоровским комплексам доверительной статистики нет.*

В южных районах распространения АКИО мы наблюдаем довольно эклектичную смесь андроновских памятников. В отличие от урало-тобольского и сарыаркинского регионов, где местные культурные коды достаточно четко определяются особенностями керамики (Рудковский, 1989), южный район представлен различными субкультурными вариантами, имеющими определенно разное территориальное происхождение: могильники Таутары, Бийликуль (Карабаспакова, 2011), Баганалы (Кариев и др., 2011) и ряд других. Поскольку репрезентативных керамических серий из данного региона крайне мало (исключение – коллекции из могильников Таутары и Шербай), строить какую-либо статистику по интересующей нас теме невозможно. Однако относительно ромбов можно высказаться достаточно определенно – здесь эти орнаментальные фигуры отсутствуют. Все андроновские памятники этого субрегиона довольно поздние (возможно, за исключением могильника Бийликуль, датируемого К. М. Карабаспаковой раннеалакульским временем), и это может быть причиной исчезновения некоторых фигур из орнаментики. *Здесь следует уточнить, что возможное обеднение андроновской орнаментики носит не только пространственный, но и временной характер.*

Степное Прииртышье в андроновской ойкумене занимает особое место. Повторимся, что восточнее этого естественного водного рубежа не найдено ни одного алакульского памятника, а все андроновские памятники представляют исключительно фёдоровскую культуру. Непосредственно в Прииртышье не все так определенно. Если принимать во внимание только характер профилировки керамических горшков (как культуроопределяющий признак), то здесь наблюдается явное преобладание фёдоровских памятников. Особенно в Восточно-Казахстанской (Ткачёва и др., 2008) и Семипалатинской (Максимова и др., 1987) областях. В долине р. Шидерты исследованы алакульский могильник Нурманбет (Оразбаев, 2013) и смешанный фёдоровско-алакульский могильник Акмола (Кадырбаев, 1969). Непосредственно на левом берегу Иртыша С. В. Сотниковой исследован алакульско-фёдоровский могильник Ермак IV (Омское Прииртышье). При относительной простоте таких квалификаций нельзя не отметить более сложную культурную структуру андроновского населения данного региона, если обратить внимание на более тонкие различия.

Так, могильник Ермак IV представляет собой сложный комплекс, в котором доминирует центрально-казахстанский вариант алакуля, но здесь же отчетливо выделяется фёдоровская

часть и алакуль урало-тобольского варианта. В то же время, это самый восточный «форпост» распространения алакульских комплексов в целом. Могильник Нурманбет – памятник бесспорно алакульский, но кроме этого являет собой эклектичное смешение центрально-казахстанского и урало-тобольского вариантов керамики, что более характерно для Приишимья (Рудковский, 1989). В могильнике Акмола мы наблюдаем: во-первых, механическое сосуществование доминирующей «классической» фёдоровской керамики и чисто алакульской; во-вторых, алакульская керамика представлена как урало-тобольским, так и центрально-казахстанским вариантами; в-третьих, алакуль здесь имеет как весьма поздний, так и достаточно ранний (практически петровский) облик. Эти наблюдения могут свидетельствовать о факте сосуществования не только разных андроновских культур (что уже давно не вызывает сомнений), но и допускают возможность одновременного бытования как «прогрессивных», так и архаичных пережиточных форм культуры.

Чрезвычайно интересен могильник Мичурино I, исследованный А. А. Ткачёвым на правобережье Иртыша в 1991 г. (Ткачёва и др., 1997). По ряду признаков керамика этого памятника может быть отнесена к балыктинскому типу (Ткачёв, 2002, ч. 1). Этот тип совмещает в себе алакульские и фёдоровские черты (Рудковский, 2010). Впрочем, балыктинский феномен еще требует отдельного исследования, тем более что в балыктинской орнаментике присутствуют и весьма архаичные черты, восходящие к синташтинско-абашевским традициям (например бордюры, состоящие из горизонтальных рядов отдельно сгруппированных насечек).

Восточно-казахстанские памятники АКИО пока исключительно фёдоровские. Из репрезентативных и относительно представительных керамических серий отметим коллекции из могильников Маринка (наиболее архаичный), Берёзовский, Меновое IX и Кызылтас. Как видим, культурная ситуация в Прииртышье времен АКИО довольно запутанная. Тем не менее попробуем определить степень присутствия ромбов в орнаментиках исследованных памятников.

Мог. Нурманбет – 5,3 %, мог. Мичурино I – 9 %, один случай в мог. Кызылтас (малая выборка), мог. Акмола – один случай на алакульском сосуде, мог. Ермак IV – 5 % (информация по комплексу Ермак IV получена в ходе работы автора с данной коллекцией в фондах музея археологии и этнографии Омского государственного университета). В целом можно констатировать, что в Прииртышье практически отсутствуют ромбы в фёдоровских орнаментах и продолжают регулярно встречаться в алакульских.

Не вдаваясь в историографию исследований АКИО в пространстве от Иртыша до Енисея, можно однозначно утверждать, что в орнаментальных комплексах многочисленных памятников Алтая, Барабы, Кузнецкой котловины и Хакасско-минусинских степей ромбы на сегодняшний день не зафиксированы даже в единичных случаях.

«Ступенчатые пирамидки». Впервые фигуры подобного рода наблюдаются в орнаментах на керамике суртандинской культуры (Матюшин, 1982: табл. 83, *18*). Этот элемент, в отличие от ромбов, встречается значительно реже, но имеет схожую географию распространения. Из непосредственно предандроновских культур «пирамидки» встречаются только в синташтинских и реже в петровских орнаментах. Здесь эти фигуры преимущественно равнобедренные, а число ступенек в них от двух до восьми. Среднее содержание «пирамидок» в синташтинских комплексах около 3 %.

Андроновские «пирамидки» подразделяются на равнобедренные и асимметричные (как если бы равнобедренную пирамидку разрезали зеркальной плоскостью по вертикали). Количество ступенек в обоих вариантах – две-три, и не более. Распределение этих фигур не такое дифференцированное, как в случае с ромбами, но во многом повторяет предыдущий сюжет. Прежде всего в абсолютном большинстве «пирамидки» отмечаются в андроновских орнаментальных комплексах как единичные (в прямом смысле этого слова) феномены. Отмечено два исключения: мог. Мичурино I (2 сосуда) и мог. Майтан (8 сосудов). Первый случай, возможно, особый «балыктинский», а что касается мог. Майтан (исследован А. А. Ткачёвым), то это единственный полностью раскопанный крупный андроновский некрополь, давший

более 400 сосудов. В процентном же соотношении «пирамидки» в этой коллекции составляют менее двух процентов, что сопоставимо с другими не столь грандиозными комплексами. Из 22 изученных репрезентативных комплексов в пространстве между Уралом и Иртышом в девяти вообще не встречено ни одной «пирамидки». Распределение этой орнаментальной фигуры в наблюдаемом пространстве в целом очень равномерно, без заметных флюктуаций, сгущений и рассеиваний.

Как и ромбы, «пирамидки» ни разу не наблюдались к востоку от Иртыша. Несмотря на редкость рассматриваемого орнаментального феномена и встречаемость его почти исключительно в алакульских комплексах, необходимо отметить, что в отдельных случаях «пирамидки» наблюдаются и в некоторых фёдоровских комплексах. Такие единичные случаи зафиксированы в поселенческих комплексах Центрального Казахстана Икпень III, Майоровка, Энтузиаст I (Ткачёв, 2002, ч. 1: рис. 34, *9*; 40, *1*; 44, *16*).

«Свастические». Эта довольно сложная группа фигур, производных от «классической» свастики (которая, естественно, включается в группу) и чаще всего представляющих собой редуцированные или усложненные варианты прототипа. «Свастические» условно можно разделить на три подгруппы: во-первых, собственно свастики – отдельно стоящие одиночные знаки на тулове или днище сосуда, а также дискретные ряды свастик на шейке или тулове; во-вторых, сомкнутые ряды «шагающих свастик», чаще – редуцированных: в-третьих, это горизонтальные равнобедренные зигзаги с «подвешенными» к ним элементами (часто видоизмененными) свастик. Значительная часть этой подгруппы обычно обозначается как «ковровые» (Зотова, 1965).

Свастики как отдельные знаки, не выстроенные в бордюрный ряд, впервые фиксируются на рассматриваемых территориях в синташтинских орнаментах (Ткачёв, 2006: рис. 25, *2*; 48, *8*; 60, *7, 10*). На одном сосуде из могильника С II можно наблюдать вполне отчетливую тему «шагающей» свастики, причем как в позитивном, так и в негативном вариантах (Ткачёв, 2006: рис. 66, *9*).

В энеолитических орнаментиках свастики или что-либо напоминающее их отсутствуют. Однако в более ранних поздненеолитических памятниках типа Тентексор «шагающая» свастика, причем в вариантах, как на сосуде из СII (Ткачёв, 2006: рис. 66, *9*), уже есть (Васильев и др., 1986а: рис. 4, *3*; 1986б: рис. 2, *2*). Надо полагать, что тентексорские свастики следует считать самыми древними на территориях, непосредственно примыкающих к зоне формирования андроновских культур. К этому следует добавить, что тентексорский прямолинейный геометризм вкупе с выраженной зональностью орнамента гораздо ближе к андроновской стилистике, нежели более поздние энеолитические орнаментики. В этом есть пока не понятный исторический парадокс, но и случайностью это сходство, я полагаю, считать не стоит. Отметим также, что в доандроновских орнаментиках отсутствуют «свастические» варианты в виде «ковровых».

В отличие от ранее рассмотренных фигур, ромбов и «пирамидок» «свастические» распространены практически повсеместно. Причем как в фёдоровских орнаментиках, так и в алакульских. Однако их плотность как по регионам, так и по отдельным памятникам весьма неоднородна. В урало-тобольском пространстве средний процент «свастических» по алакульским комплексам составляет 8 %. По отдельным памятникам показатели очень высокие: мог. Лисаковский – 31 %, Тасты-Бутак – 18,7 %, однако в могильниках В. Алабуга и Алакульский эти показатели соответственно 0 % и 1,2 %. В ишимских памятниках этот показатель составляет 18,7 % (от 1,9 % в Семипалатном и до 36,6 % в Куропаткино II). В центрально-казахстанских комплексах – 3,1 % (от 0 % в Нуртае до 5,5 % в Тегизжоле).

По фёдоровским комплексам такой развернутой статистики нет, за исключением заиртышских и частично поиртышских территорий. В этих пространствах в фёдоровских комплексах тема свастики на керамических сосудах составляет в среднем 14,4 %. Это меньше, чем в алакульских орнаментах на Ишиме. Наибольший процент «свастических» в восточной части

андроновской ойкумены отмечены в могильниках Дегтярёвка (Титовский) – 27,6 % (Илюшин и др., 2013) и Старый Тартас IV – 22,7 % (Молодин и др., 2002). Минимальные показатели зафиксированы в могильниках Чудиновка – 0 % (Илюшин и др., 2013), Сухое Озеро – 6,4 % (Максименков, 1978) и Преображенка-3 – 6,5 % (Молодин, 1985). В остальных комплексах показатели от 15 % до 18 %. К западу от Иртыша отметим два репрезентативных комплекса: фёдоровскую часть Лисаковского могильника и коллекцию мог. Боровое. Содержание «свастических» фигур в них соответственно 58,0 % и 26,8 %.

На южной периферии АКИО «свастические» орнаменты присутствуют в виде и отдельных знаков, и «шагающих» свастик, и «ковровых» вариантов. В этом плане особенно показательны комплексы из могильников Таутары (Максимова, 1962) и Шербай (Смагулов и др., 2004). Интересующие нас фигуры составляют в этих керамических коллекциях соответственно 13,7 и 22,2 %. Хотя эти комплексы и несколько «деформированы» некоторым инокультурным влиянием, в целом же они могут быть охарактеризованы как алакульские.

В целом умозрительная карта распространения «свастических» фигур в пространстве АКИО выглядит следующим образом. Во-первых, «свастические», включая все их разновидности, характерны как для фёдоровских, так и для алакульских орнаментик. Средние процентные показатели по этим фигурам в обеих андроновских культурах вполне близки – соответственно 17 и 12,2 %. Более того, в районах Ишима и южной периферии алакульские орнаменты даже более насыщены «свастическими», чем фёдоровские в среднем. Во-вторых, тема свастики фигурирует по всей территории АКИО без исключения. В-третьих, обращает на себя внимание территория Центрального Казахстана, где интересующие нас конфигурации были наименее популярны. Имеется в виду прежде всего алакульская (атасуская) орнаментика, в которой «свастические» составляют лишь 3,1 %. К тому же орнаменты этой группы здесь наиболее просты и лишены сложных изысков, что довольно необычно, принимая во внимание то центровое географическое положение, что занимали андроновцы Сарыарки в системе АКИО. И, в-четвертых, в рассматриваемом контексте фёдоровская орнаментика насыщена свастическими орнаментами довольно равномерно по всей территории от Урала до Енисея, хотя, повторимся, доверительная статистика есть только по заиртышским территориям.

«Сибирский меандр». Этот изящный бордюр в виде прихотливо изломанной ленты, пожалуй, один из немногих регулярных элементов андроновской орнаментики, не встречающихся ни в одной из предшествующих археологических культур. Он может считаться чисто андроновским изобретением.

География распространения «сибирского меандра» ограничивается урало-тобольским регионом, Приишимьем и Центральным Казахстаном. Он один раз встречен в южных регионах АКИО (Карабаспакова, 2011: рис. 23) и однажды отмечен к востоку от Иртыша в коллекции могильника Фирсово-14 (фонды музея археологии и этнографии Алтайского государственного университета). Частота встречаемости этого элемента орнаментальных композиций по известным репрезентативным сериям в целом весьма низка. В половине коллекций он вовсе отсутствует, а в половине отмечен в единичных случаях. Почти аномальными можно считать абсолютные показатели в Лисаковском могильнике на Тоболе (11 экз.), мог. Майтан из Центрального Казахстана (5 экз.) и мог. Амангельды с Ишима (3 экз.). Если иметь в виду только могильные комплексы, то «сибирский меандр» в абсолютном большинстве встречается в алакульских керамических сериях. Реже и в небольших выборках этот меандр отмечается и в фёдоровских коллекциях. Например, один случай в мог. Субботино (Потёмкина, 1985: рис. 100, *2*), упомянутый «инцидент» в Фирсово-14, Урефты I (Стефанов и др., 2006: рис. 36, *7*). С поселенческими комплексами не все так однозначно. Конечно, в этом плане мы не имеем достаточной статистики, но хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности этой категории комплексов с точки зрения орнаментологии. При наблюдении опубликованных материалов андроновских поселений напрашивается вывод (предварительный, конечно), что «сибирский меандр» на поселенческой керамике фёдоровской культуры встречается не реже, чем на

керамике алакульской. Особенно отчетливо это заметно на материалах поселений Кипель (Кузьмина, 2008: рис. 60, *3*), Икпень I, II и III, Майоровка (Ткачёв, 2002, ч. 1: таб. 7, рис. 29, *24*; рис. 34, *4*; рис. 40, *8*).

Суммируя наши наблюдения по распространению выделенных орнаментальных фигур андроновской орнаментики в пространстве АКИО, получаем следующие результаты:

Во-первых, такие фигуры, как «ромбы», «ступенчатые пирамидки» и «сибирский меандр», имеют четко ограниченную дислокацию в пространстве. Это урало-тобольский регион, северо-казахстанское Приишимье, Центральный Казахстан и левобережье Иртыша зон степи и лесостепи. В южных регионах АКИО и к востоку от Иртыша данные фигуры практически отсутствуют.

Во-вторых, «свастические» фигуры (в особенности их подвид – «ковровые») распространены по всей территории АКИО как в алакульских, так и в фёдоровских орнаментах. Однако в алакульских орнаментах Центрального Казахстана фигуры этого рода наблюдаются гораздо реже и в более обедненных вариантах, нежели в окружающих соседних регионах.

В-третьих, большинство фигур андроновских орнаментов заимствовано в более ранних неолитических, энеолитических и раннебронзовых орнаментальных традициях. Это в полной мере касается и рассматриваемых в данной статье «ромбов», «ступенчатых пирамидок» и «свастических» фигур.

В-четвертых, все «предтечи» андроновской орнаментики дислоцировались в пространстве: Нижняя Волга, Южный Урал, Казахстанское Приишимье. Ни восточнее, ни южнее, ни, тем более, севернее каких-либо «предковых» форм для андроновской орнаментики не выявлено.

В-пятых, «сибирский меандр» как регулярно используемую фигуру следует отнести к разряду собственных изобретений андроновской орнаментики.

Прежде чем приступать к анализу полученных результатов, сразу подчеркнем, что мы имеем дело с количественно несбалансированным материалом. У нас есть хорошие выборки по фёдоровским комплексам из Заиртышья и по алакульским комплексам урало-казахстанских территорий. С другой стороны, западнее Иртыша и до Урала крайне мало репрезентативных фёдоровских комплексов. Недостаточно изучена и южная периферия АКИО.

Какие же из выявленных фактов могут свидетельствовать в пользу заявленной в начале статьи гипотезы об изменении орнаментального репертуара андроновцев во времени и пространстве? Что касается алакульской орнаментальной культуры, то отметим следующее. *Первое*, определенная деградация алакульской орнаментики наблюдается только на южной периферии АКИО. В представительных сериях Таутары, Шербай и в не большом, но ярком комплексе Баганалы фиксируется полное отсутствие «ромбов», «ступенчатых пирамидок» и «сибирского меандра». *Второе*, повсеместно, от Урала до Иртыша, наблюдается рост разнообразия в элементной базе алакульских орнаментов. В данном случае речь идет как о новых регулярных фигурах (наподобие «сибирского меандра»), так и об «эндемиках», демонстрирующих какие-то местные культурные эксперименты. В целом же состояние алакульской орнаментики на всей территории ее распространения (кроме южной периферии) оставалось в достаточно стабильной динамике до самого финала этой андроновской культуры. В качестве факультативной информации напомним, что весь орнаментальный репертуар алакульцев (если иметь в виду орнаментацию горшков) распределяется в урало-тобольском регионе и отчасти на Ишиме по двум, а в Центральном Казахстане по трем зонам сосуда (Рудковский, 1989). *Третье*, обеднение южного алакуля (таутаринского типа) можно объяснить определенной изоляцией этой субкультурной группы, перекочевавшей на юг Казахстана из урало-тобольского региона (на что указывает наличие пустой неорнаментированной зоны на плечиках горшков). Этой изоляцией следует объяснить и мощное влияние на таутаринцев фёдоровской культуры, что, возможно, выразилось и в «расцвете» у них «ковровых» орнаментов, и в обилии типично фёдоровских металлических изделий.

Оставляя в рамках действующей парадигмы вероятность происхождения алакульской культуры от культур Южно-Уральского региона, попытаемся внести некоторую ясность в проблему происхождения фёдоровской культуры. Нельзя не заметить, что в этом плане все больше исследователей пополняет когорту сторонников «восточной гипотезы». Их аргументация достаточно разносторонняя, во многом интересная и небезосновательная. Не вдаваясь в подробный анализ этих аргументов, следует признать их главный минус: культурных прототипов фёдоровцам ни в Центральном Казахстане, ни в Прииртышье, ни, тем более, далее к востоку просто не существует. Тем не менее автор настоящей статьи согласен, что указанные территории сыграли важную (если не главную) роль в формировании и эволюции фёдоровской культуры. Наиболее весомыми аргументами здесь являются наблюдения А. А. Ткачёва о практически совместном залегании фёдоровских и нуртайских древностей на андроновских поселениях Сарыарки (Ткачёв, 2010). Эта ситуация раннего присутствия фёдоровцев к востоку от Тобола подтверждается и исследованиями А. П. Сенчилова, исследовавшего энтропийные процессы в андроновской орнаментике (Сенчилов, 2000). Некоторые доводы в этом плане содержатся и в настоящем исследовании. В его рамках было обнаружено, что такие фигуры орнамента, как ромбы, «ступенчатые пирамидки» и «сибирский меандр», вполне обычны для ранних фёдоровских комплексов Центрального Казахстана, но далее практически исчезают (особенно при продвижении фёдоровцев на восток). И все-таки есть резон предполагать, что первые протофёдоровцы прибыли на место «промежуточного старта» с территории «синташтинского котла». Синташтинская культура замечательное, но очень странное явление. В частности, синташтинская керамика и орнаментика этой культуры представляют собой довольно эклектическую смесь черт, в которых можно узнать (причем довольно отчетливо) и «абашево», и «петрово», и «алакуль», и «фёдорово». Привычка оперировать в археологии культурами «в чистом виде» редко допускает существование бифуркационных состояний в древних сообществах, т. е. состояний, когда из многих вариантов общего культурного «знаменателя» ещё не выбран ни один из возможных. Между тем формирование АКИО в виде различных территориальных, культурных и хронологических вариантов вполне допустимо трактовать как следствие миграций и эволюций отдельных самостоятельных групп рассыпавшегося синташтинского феномена. Вполне вероятно, что начало формирования фёдоровской культуры (как и нуртайской) в её привычных канонических формах началось с продвижения на восток небольших групп мигрантов с Южного Урала.

Список литературы

Андроновская культура. Памятники западных областей. Свод археологических источников. М., 1966. Вып. В 3–2. 144 с.

Бухонина Т. А. Могильник эпохи бронзы Куропаткино-II на р. Чаглинка // Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1984. С. 44–58.

Варфоломеев В. В. Могильник Тегизжол по раскопкам 2005 года // Историко-культурное наследие Сарыарки: сб. науч. ст. Караганда, 2007. С. 65–84.

Васильев И. Б., Выборнов А. А., Козин Е. В. Поздненеолитическая стоянка Тентексор в Северном Прикаспии // Древние культуры Северного Прикаспия: межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев, 1986. С. 6–31.

Васильев И. Б., Выборнов А. А. Нижнее Поволжье в эпоху камня и бронзы // Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 1986. С. 3–20.

Григорьев С. А. К проблеме формирования алакульской культуры // Этнические взаимодействия на Южном Урале: материалы Всерос. науч. конф. Челябинск, 2015. С. 119–124.

Евдокимов В. В., Ломан В. Г. Раскопки ямного кургана в Карагандинской области // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. Караганда, 1989. С. 34–46.

Зданович Г. Б. Бронзовый век урало-казахстанских степей (основы периодизации). Свердловск, 1988. 184 с.

Зотова С. В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // МИА. 1965. № 130. С. 177–181.

Илюшин М. А., Борисов В. А. Курганы развитой бронзы в долине реки Ур. Кемерово, 2013. 304 с.

Кадырбаев М. К. Акмола – памятник андроновской культуры // Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата, 1969. С. 91–106.
Карабаспакова К. М. Жетысу и Южный Казахстан в эпоху бронзы. Алматы, 2011. 220 с.
Кариев Е. М., Чотбаев А. Е. Могильник эпохи бронзы Баганалы // Изв. НАН РК. Алматы, 2011. № 3 (283). С. 16–25.
Ковалёва В. Т., Зырянова С. Ю. Продолжение дискуссии о зауральском неолите // Вопросы археологии Урала: сб. науч. тр. Екатеринбург–Сургут, 2008. № 25. С. 30–43.
Кузьмина Е. Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурно-исторической общности. Актобе, 2008. 358 с.
Кузьмина О. В. Абашевская культура в лесостепном Волго-Уралье: учебное пособие к спецкурсу. Самара, 1992. 128 с.
Максименков Г. А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978. 190 с.
Максимова А. Г. Могильник эпохи бронзы в урочище Тау-Тары // Тр. ИИАЭ АН КазССР. Алма-Ата, 1962. Т. 14. С. 37–56.
Максимова А. Г., Ермолаева А. С. Памятники эпохи бронзы // Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. Алма-Ата, 1987. С. 24–62.
Мартынюк О. И. Керамика поселения Ботай // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского Междуречья. Челябинск, 1985. С. 59–72.
Матвеев А. В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. Новосибирск, 1998. 417 с.
Матюшин Г. Н. Энеолит Южного Урала. М., 1982. 328 с.
Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985. 200 с.
Молодин В. И., Новиков А. В., Жемерикин Р. В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 3. С. 48–62.
Мосин В. С., Беспрозванный Е. М. Новые материалы со стоянок каменного века озера Чебаркуль // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского Междуречья. Челябинск, 1985. С. 72–92.
Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы // Тр. ИИАЭ АН КазССР. Алма-Ата, 1958. Вып. 5. С. 216–294.
Оразбаев А. М. Работы на могильнике Нурманбет // Бегазы-дандыбаевская культура Степной Евразии: сб. науч. ст., посвященный 65-летию Ж. Курманкулова. Алматы, 2013. С. 74–111.
Потёмкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985. 376 с.
Рудковский И. В. Типы зонирования в андроновском орнаменте // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. Караганда, 1989. С. 47–55.
Рудковский И. В. Комбинаторика бордюрных симметрий в андроновских орнаментальных комплексах // Изв. Алтайского государственного университета. Барнаул, 2010. Вып. 4/1 (68/1). С. 213–222.
Рудковский И. В. Андроновская орнаментика в контексте системообразующих инвариантов. Алматы, 2013. 192 с.
Сенчилов А. П. Геометрический орнамент эпохи бронзы (проблемы локальной идентификации): дис. … канд. ист. наук. Кемеровский гос. ун-т. Кемерово, 2000. 273 с.
Смагулов Е. А., Баратов С. Р. Некрополь эпохи бронзы в окрестностях г. Туркестан (Археологические работы в 2000 году на могильнике Шербай) // Отан тарихы. Алмата, 2004. № 3–4. С. 75–88.
Стефанов В. И., Корочкова О. Н. Урефты I: зауральский памятник в андроновском контексте. Екатеринбург, 2006. 160 с.
Ткачёв А. А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2002. Ч. 1. 289 с.
Ткачёв А. А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2002. Ч. 2. 243 с.
Ткачёва Н. А., Ткачёв А. А. Археологические исследования около п. Мичурино // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 1997. Вып. VIII. С. 93–96.
Ткачёва Н. А., Ткачёв А. А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. Новосибирск: Наука, 2008. 304 с.
Ткачёв А. А. Проблемы происхождения и хронологии нуринских комплексов Центрального Казахстана // Андроновский мир: сб. ст. Тюмень, 2010. С. 84–97.
Ткачёв В. В., Хаванский А. И. Керамика синташтинской культуры. Орск–Самара: Изд-во ОГТИ, 2006. 180 с.
Усманова Э. Р. Могильник Лисаковский-1: факты и параллели. Караганда-Лисаковск, 2005. 232 с.

Рудковский И. В., кандидат исторических наук.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E- mail: lemke2@yandex.ru

Материал поступил 22.02.2016

Rudkovsky I. V.

ABOUT THE AREALS OF DISTRIBUTION OF SOME FIGURES OF ANDRONOVO ORNAMENTATION

In the article are expound the results of research of the process of changes in the composition of ornamental supertext of Andronovo cultural-historical community (ACHC). The research was carried out in the territorial, cultural and, partly, chronological contexts. As the most sensitive markers of this process it is proposed to consider such groups of ornamental figures, like «diamonds», «step pyramid», «swastika» and «Siberian wave». The study was conducted in the framework of the problem of the Genesis of Andronovo cultures. It was assumed that the degree of concentration of the selected shapes on the map ACHC will be able to mark the areals of the formation of Alakul and, above all, the Fedorov culture.

Key words: *Andronovo ornamentation, genesis, the epicenters of origin, the regions of distribution, pre-Andronovo ornamentation*.

References

Andronovskaya kul'tura. Pamyatniki zapadnykh oblastey. Svodarheologicheskikh istochnikov [The Andronovo culture. The monuments of the Western regions. A set of archaeological sources]. Moscow, 1966. Vip. V 3–2. 144 p. (in Russian).

Buhonina T. A. Mogil'nik epokhi bronzy Kuropatkino-II na r. Chaglinka [The burial ground of the bronze age Kuropatkino-II on the river Chaglinka]. *Bronzovyy vek Uralo-Irtyshskogo mezhdurech'ya*. Cheljabinsk, 1984. Pp. 44–58 (in Russian).

Varfolomeev V. V. Mogil'nik Tegiszhol po raskopkam 2005 g. [Necropolis Tegiszhol excavations 2005]. *Istoriko-kul'turnoe nasledie Sariarky: sb. nauch. statey*. Karaganda, 2007. Pp. 65–84 (in Russian).

Vasil'ev I. B., Vybornov A. A., Kosin E. V. Posdneneoliticheskaya stoyanka Tenteksor v Severnom Prikaspii [Late Neolithic Parking Tenteksor in the North Caspian]. *Drevnie kul'tury Severnogo Prikaspiya: mezhvus. sb. nauch. trudov*. Kujbishev, 1986. Pp. 6–31 (in Russian).

Vasil'ev I. B., Vibornov A. A. Nishnee Povolzh'e v epokhu kamnya i bronzy [The lower Volga region in the era of stone and bronze]. *Drevnyaya i srednevekovaya istoriya Nishnego Povolsh'ya: mezhvus. sb. nauch. trudov*. Saratov, 1986. Pp. 3–20 (in Russian).

Grigor'ev S. A. K probleme formirovaniya alakulskoy kul'tury [To the problem of the formation of the Alakul culture]. *Etnicheskie vsaimodeistvija na Juzhnom Urale: mat. vseros. nauch. konf*. Cheljabinsk, 2015. Pp. 119–124 (in Russian).

Evdokimov V. V., Loman V. G. Raskopki yamnogo kurgana v Karagandinskoy oblasty [Excavations of the mound of the pit in Karaganda regions]. *Voprosy arheologii Zentral'nogo i Severnogo Kazakhstana*. Karaganda, 1989. Pp. 34–46 (in Russian).

Il'yushin M. A., Borisov V. A. Kurgany rasvitoy bronzy v doline reky Ur [The mounds developed bronze in the valley of the river Ur]. Kemerovo, 2013. 304 p. (in Russian).

Kadyrbaev M. K. Akmola – pamyatnik andronovskoy kul'tury [Akmola monument of the Andronovo culture]. *Kul'tura drevnih skotovodov i zemledelzev Kazakhstana*. Alma-Ata,1969. Pp. 91–106 (in Russian).

Karabaspakova K. M. Zhetysu i Yuzhnyy Kazakhstan v epokhu bronzy [Zhetysu and southern Kazakhstan in the bronze age]. Almaty, 2011. 220 p. (in Russian).

Kariev E. M., Chotbaev A. E. Mogil'nik epokhi bronzy Baganaly [The necropolis ground of the bronze age Baganaly]. *Isvestiya NAN RK*. Almaty, 2011. N 3 (283). Pp. 16–25 (in Russian).

Kovalyeva V. T., Zyryanova S. J. Prodolzhenie diskussii o zauralskom neolite [Continued discussion on the Trans-Ural Neolithic]. *Voprosy arheologii Urala: sb. nauch. trudov*. Ekaterinburg–Surgut, 2008. N 25. Pp. 30–43 (in Russian).

Kus'mina E. E. Klassifikatsiya i periodisatsiya pamyatnikov andronovskoy kul'turno-istoricheskoy obschnosty [Classification and periodization of sites of the Andronovo cultural-historical community]. Aktobe, 2008. 358 p. (in Russian).

Kus'mina O. V. Abashevskaya kul'tura v lesostepnom Volgo-Ural'e: uchebnoe posobie k spetskursu [Abashevskaya culture in forest-steppe of the Volga-Uralia]. Samara, 1992. 128 p. (in Russian).

Maksimenkov G. A. Andronovskaya kul'tura na Enisee [Andronovo culture on the Yenisei]. St. Petersburg, 1978. 190 p. (in Russian).

Maksimova A. G. Mogil'nik epohi bronzy v urochishche Tau-Tary [The necropolis ground of the bronze age in the tract Tau-Tara]. *Trudy IIAE AN Kaz SSRT*. Alma-Ata, 1962. Vol. 14. Pp. 37–56 (in Russian).

Maksimova A. G., Ermolaeva A.S. Pamyatniki epokhi bronzy [The sites of the bronze age]. *Arheologicheskie Pamjatniky v zone zatoplenija Shul'binskoy GES*. Alma-Ata, 1987. Pp. 24–62 (in Russia).

Martynyuk O. I. Keramika poseleniya Botay [Ceramics of the Botay settlement]. *Eneolit i bronzovyy vek Uralo-Irtyshskogo Mezhdurech'ya*. Cheljabinsk, 1985. Pp. 59–72 (in Russian).
Matveev A. V. Pervye andronovzy v lesakh Zaural'ya [The first people of Andronovo tribes in the forests of the Trans-Uralia]. Novosibirsk, 1998. 417 p. (in Russian).
Matyushin G. N. Eneolit Yuzhnogo Urala [The Chalcolit of the Southern Urals]. Moscow, 1982. 328 p. (in Russian).
Molodin V. I. Baraba v epokhu bronzy [The Baraba in the bronze age]. Novosibirsk, 1985. 200 p. (in Russian).
Molodin V. I., Novikov A. V., Zhemerikin R. V. Mogil'nik Staryy Tartas-4 (novye materialy po andronovskoy istoriko-kul'turnoy obshchnosty) [The necropolis ground Old Tartas-4 (new materials of the Andronovo historico-cultural community)]. *Arheologijya, etnografiya i antropologiya Evrasii*. Novosibirsk, 2002. N 3. Pp. 48–62 (in Russian).
Mosin V. S., Besprosvannyy E. M. Novye materialy so stoyanok kamennogo veka ozera Chebarkul [New materials from the stone age of lake Chebarkul]. *Eneolit i bronzovyy vek Uralo-Irtyshskogo Mezhdurech'ya*. Cheljabinsk, 1985. Pp. 72–92 (in Russian).
Orasbaev A. M. Severnyy Khazakhstan v epokhu bronzy [The works on the necropolis grounds of Normanbet]. *Trudy IIAE AN Kaz SSR*. Alma-Ata, 1958. № 5. Pp. 216–294 (in Russian).
Potyemkina T. M. Bronzovyy vek lesostepnogo Pritobol'ya [Bronze age of the forest-steppe Tobol]. Moscow, 1985. 376 p. (in Russian).
Rudkovskiy I. V. Tipy zonirovaniya v andronovskom ornamente [Types of zoning in the Andronovo ornament]. *Voprosy arheologii Tsentral'nogo i Severnogo Khazakhstana*. Karaganda, 1989. Pp. 47–55 (in Russian).
Rudkovskiy I. V. Kombinatorika bordyurniykh simmetriy v andronovskikh ornamental'nykh kompleksakh [Combinatorics of the curb symmetries in Andronovo ornamental complexes]. *Isvestiya Altayskogo gosuniversiteta*. Barnaul, 2010. № 4/1 (68/1). Pp. 213–222 (in Russian).
Rudkovskiy I. V. Andronovskaya ornamentika v kontekste sistemoobrasuyushchikh invariantov [Andronovo ornamentation in the context of systembrushes invariants]. Almaty, 2013. 192 p. (in Russian).
Sdanovich B. G. Bronzovyy vek Uralo-Kazakhstanskikh stepey (osnovy periodisatsii) [Bronze age Ural-Kazakhstan steppes (the basics of periodization)]. Sverdlovsk, 1988. 184 p. (in Russian).
Senchilov A. P. Geometricheskiy ornament epokhi bronzy (problemy lokal'noy identifikatsii): Dis. kand. ist. nauk [The geometrical ornament of the bronze age (the problem of local identification). Thesis of cand. ist. sci.]. Kemerovsky gosuniversitet. Kemerovo, 2000. 273 p. (in Russian).
Smagulov E. A., Baratov S. R. Nekropol epokhi bronzy v okrestnostyakh g. Turkestan (Arheologicheskie raboty v 2000 godu na mogil'nike Sherbay) [The necropolis of the bronze age in the vicinity of Turkestan (Archaeological works in 2000 on the necropolis grounds of Sherby)]. *Otan tarikhy*. Almata, 2004. № 3–4. Pp. 75–8 (in Russian).
Stefanov V. I., Korochkova O. N. Urefty I: saural'skiy pamyatnik v andronovskom kontekste [Urefty I: site of the Trans-Ural in the context of the Andronovo]. Ekaterinburg, 2006. 160 p. (in Russian).
Tkachev A. A. Tsentralnyy Khazakhstan v epokhu bronzy [Central Kazakhstan in the bronze age]. Tjumen, Izd-vo TyumGNGU Publ., 2002, Ch. I. 289 p. (in Russian).
Tkachev A. A. Tsentralnyy Khazakhstan v epokhu bronzy [Central Kazakhstan in the bronze age]. Tjumen, Izd-vo TyumGNGU Publ., 2002. Ch. II. 243 p. (in Russian).
Tkacheva N. A., Tkachev A. A. Arheologicheskie issledovaniya okolo p. Michurino [Archaeological researches near Michurino]. *Sohranenie i isuchenie kul'turnogo naslediya Altayskogo kraya*. Barnaul, 1997. № VIII. Pp. 93–96 (in Russian).
Tkacheva N. A., Tkachev A. A. Epokha bronzy Verkhnego Priirtysh'ya [The bronze age of the Upper Irtysh]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2008. 304 p. (in Russian).
Tkachev A. A. Problemy proiskhozhdeniya i khronologii nurinskikh kompleksov Tsentralnogo Khazakhstana [The problems of origin and chronology of the Nura complexes of Central Kazakhstan]. *Andronovsky mir: sbornik statey*. Tjumen, 2010. Pp. 84–97 (in Russian).
Tkachev V. V., Havanskiy A. I. Keramika sintashtinskoy kul'tury [Ceramics of the Sintashta culture]. Orsk–Samara, 2006. 180 p. (in Russian).
Usmanova E. R. Mogil'nik Lisakovskiy-I: fakty i parallely [Necropolis Lisakovsk-1: facts and parallels]. Karaganda–Lisakovsk, 2005. 232 p. (in Russian).
Zotova S. V. Kovrovye ornamenty andronovskoy keramiky [Carpet ornaments of Andronovo ceramics]. *MIA*, 1965, no. 130, pp. 177–181 (in Russian).

Rudkovsky I.V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E- mail: lemke2@yandex.ru

Арбачакова Л. Н.

БОГАТЫРСКАЯ ДУША И СИЛА В ШОРСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ

На примерах шорских героических сказаний рассматриваются такие понятия, как «душа» (*тын*) и «сила» (*кӱш*), которыми обладают и положительные и отрицательные персонажи эпоса. Душа понимается шорцами как вечное начало, дающее телу жизнь и способное, отделившись от него, существовать самостоятельно.

В результате исследования установлено, что душа и сила называются «чистыми» (*арыг*) по отношению к героям независимо от их роли в эпосе, положительной или отрицательной. Кроме этого, выяснилось, что богатырская сила главного эпического героя хранится не только в оружии, но и в доспехах и других предметах, а сила отрицательного персонажа может находиться в животном (кошке) или в ножах-*кестик*.

Утраченная сила и душа *алыпа* восстанавливаются различными волшебными способами: приемом во внутрь (трава-борщевик, трехсуставная трава, яйцо, вода), через возвращение личных предметов (панцирь, плетка), совершением каких-либо действий (игра на музыкальной трубе-*пырга*, вдувание в рот).

Сохранившиеся в эпосе верования и представления, связанные с понятиями «душа» и «сила», позволяют судить о том, что они тождественны. Потерявший силу *алып* непременно теряет и свою душу.

Ключевые слова: *шорские героические сказания, богатырская душа и сила, похищение и возвращение души*.

В фольклоре шорцев, одного из малочисленных коренных народов Южной Сибири, сохранились верования и представления, связанные с понятием «душа».

У шорцев, как и у других саяно-алтайских народов (алтайцев, телеутов, тувинцев, хакасов), душа – вечное начало, дающее телу жизнь и способное, отделившись от него, существовать самостоятельно.

Известно, что во время несчастий, бедствий (болезнь человека, пропажа домашнего скота, похороны) люди обязательно приглашали шамана. Считалось, что болезнь человека вызвана тем, что его покинула одна из субстанций души. По представлениям шорцев, человек имел четыре души: при жизни они именовалась *тын* и *қут*, а после смерти – *сӱрӱн* и *ӱзӱт*.

О существовании у саяно-алтайских народов нескольких понятий души отмечали известные ученые А. В. Анохин (Анохин, 1929), Н. П. Дыренкова (Шорский фольклор, 1940: 448), (Потапов, 1991: 319), А. И. Чудояков (Шорские героические сказания, 1998: 463], В. М. Кимеев (Кимееев, 1989: 189), Д. А. Функ (Функ, 1997: 268) и др. Однако тема богатырской души-*тын* в шорских эпических произведениях мало изучена.

На примерах 12 героических сказаний (см. список), записанных нами в 1996–2001 гг. от современных сказителей А. В. Рыжкина (1924–2003) и В. Е. Таннагашева (1932–2007), рассмотрим душу богатыря-*алыпа*, которая может существовать вне тела, находясь в каких-либо предметах.

Как показали наблюдения, в шорском эпосе синонимичным понятию «душа» является понятие «сила», обозначаются они одним эпитетом `чистая` (*арыг*), причем `чистую душу`/`чистую силу` (*арыг тын/арыг кӱш*) имеют как положительные эпические персонажи, так и отрицательные.

В шорских героических сказаниях душа *алыпа*-богатыря может храниться не только в оружии, но и в доспехах и других предметах. Например, душа положительного героя может находиться в `черной крученой плетке с золотой рукоятью` (*Алтын сабтыг қара тобур қамчызын*). Об этом сообщает девушка-Сарыг Шойбан малышу, подговаривая его уничтожить

главного героя: `Когда золотую рукоять / Черной крученой плети разломаем на части, – сказала, – / Его чистая душа в золотой плети. / На части ее разломаем…` (*Қара тобур қамчының / Алтын сабын сыы пазыбыссабыс, – тедир, – / Арығ тынын оно, алтын қамчызында, – тедир. – / Қаморта сыы пассабыс…*) (рукопись сказания «Сарыг Кан», 1997).

Н. П. Дыренкова в комментарии к опубликованному тексту в книге «Шорский фольклор» отметила: «По широко распространенным прежде представлениям, вместе с вещами, принадлежащими человеку, можно завладеть его душой» (Шорский фольклор, 1940: 393).

Богатырь Алтын Кылыш, чтобы одолеть противника, просит у другого богатыря Кан Мергена его `черную крученую плеть` (*қара тобур қамчы*), в которой заключены душа и сила Кан Мергена: `Черную крученую плеть мне дай, / Твоя сила ко мне войдет` (*Қара тобур қамчынны маа перзаң, / Сеең күжүң мағок кирпарар*) («Сарыг Кан»). Получив дополнительную силу от Кан Мергена, Алтын Кылыш сумел одолеть опасного противника. Как видим, сила, содержащаяся в плетке, может на некоторое время передаваться другому богатырю.

В «Кан Кичее» (зап. 2000 г.) алып, вернувшись во дворец, узнает от своей сестры, что его личный панцирь-куйак, в котором ‘сила земли, сила неба там находятся` (*чер түүк, тер түүк күжүң оно, анда-но),* попал в чужие руки. Лишившись своего панциря, он погибает от руки младшего брата, позарившегося на его собственность, т. е. алып становится безоружным и уязвимым. Благодаря волшебной траве (*үш пом ақ өлең* – трехсуставная священная трава) вновь воскресает и возвращает вместе с панцирем свою силу.

В сказании «Чаш Салгын» повествуется о том, что утраченная сила может быть возвращена при помощи музыкального инструмента. Так, мать Чаш Салгына дает своему сыну-*алыпу* золотую трубу со словами: `Когда в золотую трубу, / Имеющую шесть отверстий-ртов, дунешь, / Покинувшая твоя сила, назад войдя…` (*Алты астыг /Алтын пырғыны тартыбыза перзең, / Шыққан күжүң нандыроқ киркелип…;* «Чаш Салгын», 2001).

А иногда, наоборот, алып, сыграв на трубе, теряет свою силу. Так, в сказании «Кара Кан» алып, проезжая через `железный хребет` (*тебир сын*), сыграл в золотую трубу-*пырғу*, имеющую шестьдесят отверстий *(алтон астыг алтын пырғыныӊ),* и оставил там `силу земли, силу неба` (*чер түүк, тер түүк күжүң*). Утраченная сила в виде белого тумана (*ақ тубан)*, расстилающегося по железному хребту, возвращается алыпу через его открытый рот. Вдохнувший в себя силу алып, `по колено, проваливаясь в черную землю, вскочил` (*устуқ пажы қара черде чара кел теп, тура сергиде;* «Кара Кан», 2001).

Дикорастущее растение `свистящий борщевик` (*сыы қобырғай)* в сушеном виде может использоваться как музыкальный инструмент. Он напоминает собой флейту (свирель) или трубу-*пырға.* В сыром виде эта тра ва принимается *алыпом* внутрь и наполняет его чудесной силой.

В сказании «Алтын Тайчы» сила богатыря хранится в этом борщевике: `Моя сила земли и сила пота, – сказал, – / На макушке черной горы с шестьюдесятью перевалами, / В свистящем борщевике, хранившись, росли` (*Меең чер түүк, тер түүк күжүм, – тедир,– / Алтон ашқымныг қара тайғаның сыртында / Сыы қобырғай полкел, өскен*). Богатырь воспользовался этим растением, чтобы помочь погибающему алыпу. Когда он съел это растение, то смог расправиться с противником.

По нашим наблюдениям, часть силы в жидком состоянии может передаваться другому, как в сказании «Сарыг Кан» `Сарыг Шайкыл, которого земля не держит` (*чер көдүрбес Сарыг Шайқыл*), оставил своему малышу часть своей силы в виде священной воды `в прозрачной бутылке / Священную воду приготовив…` (*қара полштопка / Ақ суғ иштепкелип…*). Выпив этот напиток, `малыш возвращается, проваливаясь в черную землю по колено` (*Пеере сустуқ пажынча қара черди ыра тартып келча оолақ*; «…Сарыг Кан», 1997).

В шорском эпосе душа и сила богатырей могут храниться в яйце. Так, в сказании «Өктмеш Мöке» *алып* по дороге подбирает плачущую девочку. Оказалось, что это была преображенная Шимелдейка, которая выкрала яйцо, спрятанное в подмышках *алыпа (қолтуқ алтында полған)*.

В этом золотом яйце хранилась вся `сила земли, сила неба` (т. е. душа) алыпа (*Сеең чер түүк, тер түүк күжүңны*). Шимелдейка, выкрав яйцо, `вниз под землю спустилась` (*алтыңга чер алтыңга ам түжүбүсти*). Душу и силу алыпа можно восстановить: `Открыв его рот, / Когда закатил то яйцо, / Эту черную землю продавив, малыш вскочил` (*Ақсын адынтыркел / Ақсынға анаң тоғландырыбыза пергени оолағаш / По қара черди ойа паскел, тура сергиди*).

Такой же эпизод есть и в другом сказании «Чабал Кан Мерген», где оживший после заглатывания яйца алып тут же расправляется со своими противниками.

В сказании «Алып Кускун» `неумирающая-непогибающая Кара Шимелдейка` (*өлбеспарбас Қара Шимелдей*) выкрала яйцо из подмышки малыша, где хранилась его душа, и спустилась за пределы семидесяти слоев земли (*алтынғызы четтон там чер алтынға түшпарды*). Однако отцу малыша удалось вернуть яйцо: `В рот яйцо положив, закатили... / Малыш тут же глаза открыв…` (*Ақсына кел салып, тоғлан түжүрүбүскенди…оолағаш ийги қаран топлада кел көрди…;* «Алып Кускун», 2000).

В этом же сказании `сила земли, сила неба` (*чер түүк, тер түүк күжү*) входят в Алып Кускуна через его рот в виде `черного валежника` (*қара чадық),* и после этого он становится таким, что `алыпов, которых бы он боялся, перед которыми преклонялся, уже нет` (*сен қоруқчаң, сен эгенчин алып чоқ*).

Золотое яйцо может храниться в подмышках своего хозяина. Украденное яйцо прячется Кара Шимелдейкой `в железном сундуке в белом шелковом платке` (*тебир сундуқтың түбин ара тудултыр, ноолғаны, ақ торғу плат анда чатча)*.

Иногда яйцо находится в доме самого богатыря. Например, в сказании А. В. Рыжкина «Алтын Кан» иссякшую силу богатыря восстанавливает яйцо, которое выносит из сорока комнат жена алыпа. То волшебное яйцо лежало во втором сундуке: `Внутри сундука / Еще был сундук! / Когда этот сундук открыла: / Там золотое яйцо лежало!` (*Ол сундуқтың иштинде / Еще сундук полған полтур! / Ол сундуқты анаң кел ажыбыза пергени: / Алтын ныбыртқа чатчыған полтур!*).

Кроме этого, золотые яйца в шорских героических сказаниях могут выполнять другую функцию: из брошенного на землю творцами-*чайачы* яйца появляется малыш, явившийся для того, чтобы выручить из беды престарелого или ослабевшего алыпа, погибающего от руки захватчика. Так, в сказании «Кёк Торчук» `творец-*чайачы* бросил яйцо` *(чағыс чайачы алтын ныбыртқа иштепкел, шелген)*, из которого появился малыш и спас умирающего Кёк Кана. Творцы-чайачы с семидесяти небес могут сбросить два `большое-маленькое яйца` (*улуғ-кичиг алтын ныбыртқа*), из которых появляются старший-младший *алыпы* для того, чтобы с главным героем `Алтын Тайчы жили как братья` (*Алтын Тайчыба үш қаарындаш полкел, чадарзар)* (рукопись сказания «Алтын Тайчы», 1998).

Если *алыпа* в виде яйца сбрасывают *чайачы*-творцы, то девушку превращает в золотое яйцо её суженый, выигравший ради нее все состязания. Процесс преображения девушки, как правило, происходит просто: `Алтын Сабак схватил, / Подкинув-подбросив, / В золотое яйцо превратив, / В правый (карман) сунул` (*Алтын Сабақты қабалып, /Угжап-ташқапкелип, /Алтын ныбыртқа иштеп, / Оң қарманға кел, суғунды*) (Фольклор шорцев, 2010: стк. 881–884).

В эпическом мире на самой высокой горе, имеющей девяносто перевалов, растет волшебная трава `трехсуставная священная трава` (*Үш пом ақ өлең*). До этой горы `Птицы, имеющие крылья, не долетают, / Звери, имеющие четыре копыта, не добегают – такое это место` (*Қурғунуғ қуш учуқполбанча, / Торт туйғақтыг аң шықполбанчын чер).*

Эта `священная трава` (*ақ өлең*) оказывает оживляющее действие. Для воскрешения алыпа не требуется особых усилий, нужно лишь траву положить погибшему в рот, чтобы человек ожил: `когда белую траву положили в рот, / Алтын Сом глаза свои открыл` (*ақ өлең табыраткел, суғубусқанда, / Алтын Сом ийги қаран тазыла көрүбүсти;* «Алып Карачын кыс», 1996).

Эта трава способствует рождению детей. Так, в сказании «Алып Карачын кыс» престарелые супруги отправляют Кан Мергена за этой травой, говоря: `Если доставишь трехсуставную священную траву, / То наследник мужчины от нас сотворится` (*Ӱш пом ақ ӧлең аккеле перза, / Эр ортқазы пистиң чайалар эди)*.

В сказании «Чаш Салгын» главный герой по ошибке убил своего двоюродного брата. Чтобы его оживить, божества отправляют героя на золотую гору, имеющую девяносто перевалов, за волшебной `трехсуставной белой травой` (*ӱш пом ақ ӧлеңни аккелип).* Если он, доставив эту траву `оживит Алтын Шалгыма, / то чистая душа брата сохранится *(Алтын Шалғымны тиргиссең, / Арығ тынын қалар)*.

В бурятских улигерах для воскрешения погибших героев часто используются хвойные растения (можжевельник, пихта, кедровые ветки). По мнению Е. Н. Кузьминой, «все-таки эти растения служат для воскресительниц лишь лекарственными средствами, в то время как совершаемые ими действия в обряде оживления оказывают магическое действие» (Кузьмина, 1980: 160).

В сказании «Кюн Кёк» погибшую девушку старушка Ак Кёжеге оживляет без чудесных предметов, проведя магический обряд: `Старушка три раза гроб обошла, / Из туеска воды зачерпнула, / На девушку три раза плеснула, / Три раза подпрыгнула: / В гробу лежавшая Кюн Кёк – сестра / Оба глаза свои открыла` (*Куртияқ кижи ӱш эбире пас-келди, / Парып, тӱӱстең суғ сузыб-алып, / Ӱш қада пурғур-кел, / Ӱш када тебинизе-бергени: / Чатчитқан Күн Кӧӧк печези / Ийги қараан ажыбысты;* «Кюн Кёк», 1999: стк. 1268–1274).

В «Чаш Салгыне» девятиглазая золотая стрела безболезненно изымает внутренние органы алыпа. Его дочь, обмыв внутренности больного отца чудодейственным раствором, возвращает ему здоровье, силу и `чистую душу` (а*рығ тыным*).

Богатырская сила может выглядеть, как белый туман. Например, в героическом сказании «Кара Кан» (зап. 1999 г.) у девушки Кюн Кёк `покинувшая сила земли, сила неба` (*чер тӱӱк, тер тӱӱк күжӱң*) через три дня возвращаются назад к ней в виде белого тумана (*ақ тубан*) через рот: `Через три дня / Весь белый туман / Назад потянувшись, в рот вошел` (*Ӱш күннең пажында/ Ақ тубан тооза кел, /Ақсынға кел нандыра тартыл, кир-парды*). Очнувшись, Кюн Кёк сказала своему племяннику, что он пришел вовремя, иначе `чистая душа бы ее вся вышла` (*арығ тынымны шығара тартыныбызар эдим*).

Как мы заметили, душа возвращается к *алыпу* через открытый рот, либо, по мнению Л. П. Потапова, через нос: «…я неоднократно слышал от телеутов и шорцев, что душа «использует для выхода и входа носовые отверстия»» (Потапов, 1991: 319). Видимо, в возникновении мотива о душе, расстилающейся в виде белого тумана, сказалось наблюдение за дыханием человека в морозную стужу, когда при выдохе изо рта валит белый пар.

По словам И. Г. Закировой, «в татарском языке существует выражение *сулыш өру* (досл. вдохнуть дыхание), означающее «вдохнуть жизнь». В дастанах и сказках этот процесс оживления героя называется также *тын өру*. В таких случаях душа описывается в виде легкого ветерка. В татарской сказке «Турай батыр» мать героя оживляет умершего сына своим теплым дыханием» (Закирова, 2011: 275–279).

Подобное оживление описывается и в шорском сказании «Кюн Кёк»: `Вниз ко рту его наклонившись, / Ртом своим прикоснувшись, / Затем как вдунул – / У Ай Толая девять пуговиц / Чуть не оторвались! / – Теперь силою ты наполнился!` *(Тӱңдере чат-келип, поң ақсынға / Позун ақсынма наара пас-келип, / Анаң ӱбӱрӱбӱзе-бергени: / Ай Толайдың тоғус топчузы / Асла талап шық-парбады! / – Саға толдура сегриди;* «Кюн Кёк», 1999: стк. 1436–1441).

Дополнительную силу от творцов-чайачы получают в героических сказаниях шорцев и богатырские кони. Так, в сказании «Қазыр Салғын и Кара Салгын» творцы-чайачы накрывают коней этих двух братьев-богатырей `девятиметровым (*тоғус қулаш)* и шестиметровым шелковыми коврами` (*алты қулаш ноо, қыл торғу кемизоқ чайдылар*), после чего этих коней `ни один конь не обгонит` (*ада чашқа атқа алдырбас*).

В сказании «Алтын Сырык» два брата, бело-серый конь и бело-сивый конь, так долго состязались со стрелой, пущенной творцами, что один из них погибает. Тогда другой брат, бело-серый конь, поднял его к творцам с просьбой оживить: `Бело-сивому коню, младшему брату, / Дыхание жизни верните, / Силу коня верните` (*Ақ сар ат туңмамның / Арығ тынын нандыра переер, / Ат кужун переер*) (Шорские героические сказания, 1998: 463). Творцы, оживив его, подковывают их новыми золотыми девятислойными и шестислойными подковами.

Таким образом, чудесные предметы играют большую роль как в оживлении героев, так и в умножении силы коней. Здесь используются соответствующие волшебные предметы (шелковые ковры, золотые подковы).

В шорском эпосе обычно душа персонажей Нижнего мира хранится вне его тела, и, чтобы уничтожить такого врага, нужно преодолеть различные препятствия. Часто душа отрицательных алыпов находится в пестрой кошке: `Пока пеструю кошку, имеющую семь ног, не поймаем, – сказал, – Души у него нет, / Всю жизнь будем сражаться с этим Чес Алыпом, / Его души не достигнем` *(Четти азақтыг ала көшкени тутпанча, – тедир, – ноо тыны позунға чоқ / Чес Алыпты ада чашқа қабыжып, / Аның тынға четпесибис)* (рукопись сказания «Алтын Тайчы», 1998). Необходимо догнать эту кошку и уничтожить, иначе они сами `Неумирающие, умрут, / Непогибающие, погибнут` (*Ölбен позубус, ölерибис, / Часпан позубус, чазарыбыс*). А чтобы одолеть шесть братьев божества Нижнего мира *Эрлика*, герою необходимо добраться до того места, где сливаются девять рек. Души бессмертных шести братьев-*Эрликов* в виде шести ножей-*кестик* хранятся `в девятислойном чугунном сундуке, находящемся там, где девять рек соединяются` (*тоғус талай қатышқан черди, тоғус қулаш шойун сундук*).

Все вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что душа и сила называются ‘чистыми’ по отношению к героям независимо от их роли в эпосе, положительной или отрицательной. Часто душа и сила положительного персонажа хранятся в богатырском снаряжении (панцирь, плетка). Утраченная сила и душа алыпа восстанавливаются различными волшебными способами: приемом во внутрь (трава-борщевик, трехсуставная трава, яйцо, вода), через возвращение личных предметов (панцирь, плетка), совершением каких-либо действий (игра на музыкальной трубе-*пырға*, вдувание в рот). Сила отрицательного персонажа хранится в животном (кошке) или в ножах-*кестик*. Богатырские кони также наделяются силой. В героических сказаниях конь – главный помощник богатыря, который также может получить силу в виде волшебных предметов (шелковые ковры, золотые подковы) от творцов-*чайачы*.

Сохранившиеся в шорском эпосе верования и представления, связанные с понятиями «душа» и «сила» позволяют судить о том, что они тождественны. Потерявший силу *алып* непременно теряет и свою душу.

Данное исследование в основном базируется на собранном автором эпическом материале в исполнении современных шорских сказителей и лишь частично освещает затронутую в ней проблему. Несмотря на то, что эпическая традиция постепенно угасает, тексты показывают сохранение и отражение в них традиционного мировоззрения.

Список литературы

Анохин А. В. Душа и ее свойства по представлению телеутов // Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР. Л., 1929. Т. VIII. С. 253–269.

Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1999. 237 с.

Закирова И. Г. Репрезентация мотива души в тюркской эпической традиции // Вестник Чувашского университета. 2011. № 1. С. 275–279.

Кимеев В. М. Шорцы. Кто они? Этнографические очерки. Кемерово: Кемер. кн. изд-во, 1989. 189 с.

Кузьмина Е. Н. Женские образы в героическом эпосе бурятского народа. Новосибирск: Наука, 1980. 160 с.

Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 319 с.

Шорские героические сказания. Кан-Перген. Алтын-Сырык / вступ. ст., подгот. поэт. т-та, пер., коммент. А. И. Чудоякова; музыковедческая статья и подгот. нотного т-та Р. Б. Назаренко. Москва; Новосибирск: Наука, 1998. 463 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 17).
Шорский фольклор / запись, пер., вступ. ст., примеч. Н. П. Дыренковой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 448 с.
Фольклор шорцев / сост. Л. Н. Арбачакова. Новосибирск: Наука, 2010. 608 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 29).
Функ Д. А. Телеутское шаманство: традиционные этнографические интерпретации и новые исследовательские возможности / в. ред. Л. П. Потапов. М., 1997. 268 с.

Рукописи шорских героических сказаний

«Алтын Кан» («Алтын Қаан»). Зап. в 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от А. В. Рыжкина. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Алып Кускун» («Алып Қускун»). Зап. в 2000 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Богатырка Карачын кыс» («Алып Қарачын қыс»). Зап. в 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Солнце увидевшая Кюн Кёк» («Күннӱ көрген Күн Көök»). Зап. в марте 1999 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«С златогривым светло-серым конем Алтын Тайчы» («Алтын чаллыг ақ қыр аттыг Алтын Тайчы», 73 с.). Зап. в 1998 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«С желто-рыжим конем, обгоняющим ветер, Сарыг Кан» («Салғын четпес сарыг сар аттыг Сарыг Қаан», 77 с.). Зап. 10 ноября 1997 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«С резвым рыжим конем Октемеш Мёке» («Ат кезиги Öктемеш сар аттыг эр кезиги Öктемеш Мökке», 112 с.). Зап. в 2000 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН. (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Кан Кичей, воплотивший в себе жизненную силу десяти богатырей» (*Он алыптың майының пир кестепкел, чайалған Қаан Кичей*). Зап. в 2000 г. Л. Н. Арбачакова от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН.

«Кара Кан» («Қара Қаан»). Зап. в 1999 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Кара Кан» («Қара Қаан»). Зап. в 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Кёк Торчук» (Кök Торчуқ). Зап. в апреле 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Чабал Кан Мерген» («Чабал Қан Мерген»). Зап. в 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

«Чаш Салгын» («Чаш Салғын»). Зап. в 2001г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

Арбачакова Л. Н., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник.
Институт филологии. Сибирское отделение Российской академии наук.
Ул. Николаева, 8, Новосибирск, Россия, 630090.
E-mail: anzass@mail.ru

Материал поступил 13.02.2016

Arbachakova L. N.

WARRIOR SOUL AND POWER IN SHOR HEROICS EPICS

This article on examples of Shor heroic legends explores concepts such as soul (tyn) and power (küš), which have both positive and negative characters epic. The soul understand by Shor People as eternal origin, giving the body lives and capable, separated from him, exist independently.

The results of the study found that soul and power arecalled "clean" (aryġ), in relation to the heroes regardless of their role in the epic, positive or negative. In addition, it turned out that the epic power of the main epic hero is stored not just in weapons but also in armor and other items, but the power of the negative character may be in the animal (cat) or the knifes-*kestik*.

Lost alyp power and soul restored various magical ways: reception inside (grass-cow parsnip, three-joint herb, egg, water), through the return of personal items (armour, lash), committing any actions (musical trumpet- *pyrġa*, injection in the mouth).

Preserved in the epic beliefs and views associated with the notion of soul and power, reveals that they are identical. Lost force alyp necessarily loses his soul.

Key words: *Shor people heroic epics, warrior soul and power, stollen and return of soul*.

References

Anokhin A. V. Dusha i eye svoystva po predstavleniyu teleutov [The soul and its futures by teleuts understanding]. *Sbornik museya antropologii i etnographii AN SSSR – Bulletin of the Museum of anthropology and ethnography SA USSR*, 1929, vol. VIII, pp. 253–269 (in Russian).

Butanaev V. Y. Khakassko-russkiy istoriko-etnograficheskiy slovar' [Khakas-Russian ethnographical dictionary]. Abakan, Khakasskoe knizhnoe izd-vo Publ., 1999. 237 p. (in Russian).

Zakirova I. G. Reprezentazija motiva dushi v tjurkskoj epicheskoj tradizii [Representation of the motive of the soul in the Turkic epic tradition]. *Vestnik chuvashskogo universiteta – Chuvash University Bulletin*, 2011, no. 1, pp. 275–279 (in Russian).

Kimeev V. M. Shortsy. Kto oni? [Shorets. Who are they? Ethnographic essays]. Kemerovo, Kemerovskoe knizhnoe izd-vo Publ., 1989. 189 p. (in Russian).

Kuzmina E. N. Zhenskie obrazy v geroicheskom epose buryatskogo naroda [Female images in a heroic Buryat people epos]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1980. 160 p. (in Russian).

Potapov L. P. Altayskiy shamanizm [Altai shamanism]. Leningrad, Nauka Publ., 1991. 319 p. (in Russian).

Shorskie geroicheskie skazaniya. Kan-Pergen. Altyn-Syryk [Shor heroic epic stories Kan-Pergen. Altyn-Syryk. Introductory article, preparation of poetic text, translation, commentary by A.I.Chudoyaova; musicological article and preparation of musical text by R. B. Nazarenk]. (Seria Pamyatniki folklora narodov Sibiri i Dalnego Vostoka [Series Monuments of folklore of the peoples of Siberia and Far East]). Moskva, Novosibirsk, Nauka Publ., 1998. Vol. 17. 463 p. (in Russian).

Shorskiy folklor [Shor folklor. Recording, translation, introduction, notes by N. P. Dyrenkova]. Moscow, Leningrad, AN USSR Publ., 1940. 448 p. (in Russian).

Folklor Shorzev [Folklore of the Shor people. Compiled by L. N. Arbachakova] (Seria Pamyatniki folklora narodov Sibiri i Dalnego Vostoka [Series Monuments of folklore of the peoples of Siberia and Far East]). Novosibirsk, Nauka Publ., 2010. Vol. 29. 608 p. (in Russian).

Funk D. A. Teleutskoe shamanstvo: traditsionnye etnographicheskie interpretatsii I novye issledovatelskie vozmozhnosti [Teleut shamanic: tradition ethnographic interpretations and new research possibilities. Ed. by L. P. Potapov]. Moscow, 1997. 268 p. (in Russian).

The List of Shor People Heroic Epics

«Altyn Kan» («Altyn Kaan»). Zap. v 1996 g. L. N. Arbachakovoy ot A. V. Ryzhkina. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Alyp Kuskun» («Alyp Kuskun»). Zap. v 2000 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Bogatyrka Karachyn kys» («Alyp Алып Karachyn kys»). Zap. v 1996 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Solntse uvidevshaya Kyun Kyok» («Kjunnju kjorgen Kjun Kjojok»). Zap. v marte 1999 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«S zlatogrivym svetlo-serym konyom Alnyn Taychy» («Altyn challyg ak kyr attyg Alnyn Tajchy», 73 c.). Zap. v 1998g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«S zhyolto-ryzhym konyom, obgonyayushchim veter, Saryg Kan» («Salgyn chetpes saryg sar attyg Saryg Kaan», 77 c.). Zap. 10 nojabrja 1997 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«S ryzhym konyom Oktemesh Myoke» («At kezigi Oktemesh sar attyg er kezigi Oktemesh Mjokke», 112 c.). Zap. v 2000 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Kan Kichey, voplotivshiy v sebe zhiznennuyu silu desyati bogatyrey» (On alyptyn majynyn pir kestepkel chajalgan *чайалған Қа* Kan Kichej). Zap. v 2000 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Kara Kan» («Қara Қaan»). Zap. v 1999 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Kara Kan» («Қara Қaan»). Zap. v 2001 g. L. N. Arbachakovoy от V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Kyok Torchuk» (Kjok Torchuқ). Zap. v aprele 2001 g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Chabal Kan Mergen» («Chabal Қan Mergen»). Zap. v 1996 g. L. N. Arbachakovoy от V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

«Chash Salgyn» («Chash Salgyn»). Zap. v 2001g. L. N. Arbachakovoy ot V. E. Tannagasheva. Fonoarkhiv sektora folklora narodov Sibiri IFL SO RAN (Fond L. N. Arbachakovoy).

Arbachakova L. N.
Institute of Philology. Siberian Division of the Russian Academy of Sciences.
Ul. Nikolaeva, 8, Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: anzass@mail.ru

Мухаметдинов В. И., Бахшиев И. И.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЕРАМИКИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА «ЮЛАЛЫ-8» В ЗАУРАЛЬСКОЙ БАШКИРИИ (МАТЕРИАЛЫ КУРГАНА 3)

Вводятся в научный оборот новые данные по технологии керамического производства срубной и срубно-алакульской культур по материалам кургана 3 могильника «Юлалы-8» в Башкирском Зауралье. В результате технико-технологического анализа керамики выявлены традиции отбора и подготовки исходного пластичного сырья, составления формовочных масс, обработки поверхностей изделий, обжига сосудов.

Ключевые слова: *Башкирское Зауралье, эпоха поздней бронзы, технико-технологический анализ керамики, реконструкция гончарства*.

Впервые курганы упоминаются в так называемой Картотеке Коишевского (1945 г.) под наименованием «Юлалинский курган» (Археологическая карта…: № 1808). В описании указано, что, не доезжая до рудника (имеется в виду заброшенный Юлалинский рудник. – *Авт.*), фиксируется группа курганов. Полагаем, что под одним наименованием были объединены несколько известных на сегодняшний день некрополей – курганный могильник Юлалы-8 и одиночные курганы Юлалы-7, 9 и 10.

Первое научное обследование некрополя произведено Д. И. Ахтаряновой в 2004 г., зафиксировавшей четыре распахиваемые курганные насыпи диаметром от 20 до 33 м и высотой 0,3–1,2 м (Ахтарянова, 2005).

Курганы расположены на распахиваемом пологом склоне террасы правого берега руч. Юлалы, в 4,2 км к юго-востоку от пос. Семеновский Баймакского района Республики Башкортостан, в 5 км к юго-юго-западу от дер. Мунасипово Баймакского района Республики Башкортостан, северо-восточнее горы Буреле.

Могильник состоял из четырех курганов, три из которых полностью распахивались. Курганы 1, 3 и 4 расположены по линии З–В. Курган 2 был несколько смещен к северу от условной оси расположения насыпей (рис. 1).

К настоящему времени в курганной группе насчитывается четыре насыпи, две из которых (№ 2–3) исследованы экспедицией НПЦ Минкультуры Республики Башкортостан и Сибайского института (филиал) Башгосуниверситета в 2012 г. под руководством И. И. Бахшиева.

В настоящей статье публикуются результаты технологического анализа сосудов из погребений кургана 3.

Под исследованной курганной насыпью № 3 обнаружено три погребения. Захоронения осуществлены в обычных грунтовых могильных ямах без надмогильных перекрытий и сооружений (рис. 2). Два погребения из трех сильно нарушены деятельностью животных-деструкторов (погр. 1, 3). В погребальной камере № 2 обнаружен практически полный посткраниальный скелет удовлетворительной сохранности. Согласно определениям к.б.н. В. В. Куфтерина, костяк в центральном захоронении (погр. 1) принадлежал мужчине 30–45 лет, погр. 2 – женщина 25–35 лет, а в могильной яме погр. 3 были обнаружены разрозненные останки двух детских костяков – 1–1,5 года и 10–12 лет.

Три сосуда из погребений и один фрагмент с уровня материкового грунта были проанализированы в рамках историко-культурного подхода, по методике, разработанной А. А. Бобринским (Бобринский, 1978, 1999).

Гончарная технология, в рамках данного подхода, рассматривается как системное образование, состоящее из уровней – стадий керамического производства (подготовительная, созидательная и закрепительная), разделенных на десять ступеней – обязательных задач, выполнение которых необходимо для изготовления сосуда. В рамках подготовительной стадии – это

1 – отбор, 2 – добыча и 3 – обработка исходного сырья, 4 – составление формовочной массы; созидательной стадии – 5 – конструирование начина и 6 – полого тела сосуда, 7 – придание ему формы и 8 – механическая обработка его поверхностей; закрепительной стадии – 9 – придание сосуду прочности и 10 – устранение влагопроницаемости его стенок. Кроме того, существуют две необязательные ступени в рамках созидательной стадии: 11 – создание рельефных частей сосуда и 12 – орнаментация сосуда. Раскрытие технологической информации предполагается по указанным ступеням, кроме ступеней, связанных с конструированием. Последнее обстоятельство связано с сильной фрагментацией сосудов.

Информация о результатах визуального осмотра и технологического анализа представлена отдельно по каждому сосуду.

Фрагмент днища сосуда (западный сектор)

В ходе зачистки материкового грунта в 2,5 м к северу от погребения 1, в 0,5 м к западу от западного края бровки (ориентир на пикет «–105») обнаружен мелкий фрагмент днища сосуда (2,5х1,5 см). Технологические характеристики данного фрагмента свидетельствуют о его принадлежности к отдельному не сохранившемуся сосуду (рис. 4, *2*).

Визуальный осмотр. Культурная принадлежность не определена. Цвет поверхности светло-оранжевый, поверхность закрыта отложением солей.

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен сосуд, – ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-увлажненном состоянии. Естественные примеси в пластичном сырье: цветной полуокатанный песок размером менее 0,5 мм в концентрации 1:6; единичные включения бурого железняка размером менее 0,5 мм.

Непластичное исходное сырье: навоз (редкие отпечатки измельченной растительности (до 1,5–2 мм)); тальковая (сланцевый талькит) дресва размером 0,5–2 мм в концентрации 1:6(7).

Рецепт формовочной массы: глина + тальковая дресва + навоз (рис. 6, *4*).

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный изготовлен из жгутов, навитых по спирали.

Вероятнее всего, сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости.

Поверхность обработана механически простым заглаживанием. Установить инструмент не удалось.

Закрепительная стадия. Излом трехцветный – у поверхности оранжевые слои (0,1 мм), центральная прослойка темно-серого цвета.

Обжиг, при котором действие температур каления было кратковременным, проводился в окислительной среде.

Сосуд из погребения 1

Сосуд располагался над черепом.

Визуальный осмотр. Сосуд срубной культуры. Горшечной формы, приземистых пропорций, с выраженным скругленным плечом, короткой слегка отогнутой наружу шейкой и выделенным устьем. Дно прямое, не оформлено. Поверхность хорошо обработана, но без признаков лощения. Орнаментирована только верхняя часть сосуда. Переход от шейки к тулову (плечо) выделен двумя параллельными горизонтальными линиями. По шейке нанесен ряд заполненных косыми линиями равносторонних треугольников вершинами вверх (рис. 3, *1*).

Орнамент выполнен оттисками штампа, имевшего стертые пропилы («слепая» гребенка), ложе штампа острое, ширина штампа ок. 1,5 мм.

Цвет поверхности светло-оранжевый, с обширными темно-серыми пятнами.

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен сосуд, – ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-увлажненном состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: цветной полуокатанный песок размером до 0,5 мм в концентрации 1:5(6); включения бурого железняка размером до 0,5 мм в концентрации 1:8.

Непластичное исходное сырье: органический раствор (рыжий налет на порах аморфной формы и единичные отпечатки измельченной растительности); шамот размером 0,5–2 мм в концентрации 1:4.

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + органический раствор (рис. 6, *1*).

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, *1*).

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой с гладкой рабочей поверхностью.

Поверхность сосуда была первоначально обработана заглаживанием гребенчатым штампом, после чего финально заглажена мягким предметом (пальцами?).

Закрепительная стадия. Излом трехцветный – у поверхности оранжевые слои (0,1 мм), центральная прослойка темно-серого цвета.

Обжиг, при котором действие температур каления было кратковременным, проводился в окислительной среде.

Сосуд из погребения 2

Сосуд находился ***у*** изголовья погребенной, над теменной частью черепа.

Визуальный осмотр. Горшечный сосуд срубно-алакульского типа, высоких пропорций. Плавнопрофилированный с выраженным закругленным плечом. Шейка длинная, прямая. Дно прямое, не оформлено. Орнаментирована верхняя часть сосуда (шейка и верхняя часть тулова). Переход от шейки к тулову (плечо) выделен горизонтальным рядом подовальных косых вдавлений, такой же ряд вдавлений расположен по устью сосуда.

По шейке оттисками гладкого штампа нанесен двойной горизонтальный зигзаг. Также многорядным горизонтальным зигзагом декорирована верхняя часть тулова сосуда (рис. 3, *2*).

Орнаментирован ребристым штампом. Срубные признаки: горшечно-баночная плавнопрофилированная форма, орнаментация рядами коротких оттисков гладкого штампа. Алакульские признаки: однородный тмно-серый цвет внешней поверхности, орнаментация многорядным зигзагом.

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен сосуд, – высокопластичная ожелезненная глина, использовавшаяся в естественно-увлажненном состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: единичные включения бурого железняка размером до 0,5 мм.

Непластичное исходное сырье: органический раствор (?) (редкие включения черного смолянистого налета в изломе); шамот размером 0,5–2 мм в концентрации 1:7(6).

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + органический раствор (?) (рис. 6, *2*).

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, *2*).

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой с гладкой рабочей поверхностью.

Поверхность сосуда была обработана заглаживанием твердым инструментом, оставившим слабые следы параллельных линий (деревянный нож (?), возможно, финишное заглаживание пальцами.

Закрепительная стадия. Обжиг проводился в восстановительной среде. Цвет поверхности и излома – однотонный темно-серый.

Сосуд из погребения 3 (во фрагментах)

Визуальный осмотр. Сосуд горшечной формы срубно-алакульского типа с выраженным плечом, оформленным в виде уступа. Шейка прямая, высокая. Устье чуть заужено и отогнуто наружу (рис. 4, *1*).

Цвет внешней поверхности однотонный, темно-серый, цвет внутренней – однотонный темно-оранжевый.

Орнамента нет. Поверхность подлощена.

Срубные признаки: отсутствие орнамента. Алакульские признаки: уступчатое плечо, однотонный темно-серый цвет внешней поверхности, лощение.

Подготовительная стадия. Пластичное исходное сырье, из которого изготовлен сосуд, – ожелезненная глина средней степени пластичности, использовавшаяся в естественно-увлажненном состоянии. Естественные примеси пластичного сырья: цветной полуокатанный песок менее 0,5 мм в концентрации 1:4, единичные включения бурого железняка размером до 0,5 мм.

Непластичное исходное сырье: навоз (редкие включения отпечатков измельченной растительности до 3 мм); шамот размером 0,5–2 мм в концентрации 1:7(6).

Рецепт формовочной массы: глина + шамот + навоз (рис. 6, *3*).

Созидательная стадия. Начин сосуда донно-емкостный, изготовлен из жгутов, навитых по спирали. Тем же способом изготовлено полое тело сосуда (рис. 5, *3*).

Сосуд изготавливался способом скульптурной лепки на плоскости. Уплощенные участки на поверхности сосуда свидетельствуют о корректировке его формы выбиванием колотушкой с гладкой рабочей поверхностью.

Поверхность сосуда финишно была обработана лощением. Возможно, была произведена немеханическая обработка поверхности (чернение?) с целью придания однотонного темно-серого цвета.

Закрепительная стадия. Излом двухцветный – слой у внутренней поверхности темно-оранжевый (0,1 мм), остальная часть однотонного темно-серого цвета. Обжиг производился в окислительной среде, после чего, вероятно, внешняя поверхность сосуда была обработана немеханическим способом (чернение?).

Выводы

Особенности погребального обряда и керамический материал позволяют относить исследованный курган 3 к эпохе поздней бронзы. Если сосуд из погр. 1 явно несет в себе признаки развитого этапа срубной культуры, то горшки из погр. 2–3, без сомнения, относятся к синкретическому срубно-алакульскому типу. Культурная принадлежность фрагмента днища сосуда из насыпи не определена.

Основные параметры сосудов

Погребение	Диаметр			Высота			Толщина
	по устью	в месте макс. расширения тулова (по плечу)	дна	сосуда	шейки	тулова	стенок
1	22,5	24,5	13,8	14–14,5	4,5–5	9,5	0,7–1
2	14,6	17	9,3	16,7	6	10,5–10,7	0,6–0,8
3	13,5	14,5	7,5	12,5	3,5	9	0,7–0,9

Субстратные традиции (конструирование начина и полого тела, формообразование), выделенные по всем четырем сосудам, свидетельствуют об относительной однородности населения, хоронившего в данном кургане. Состав традиций позволяет связать их со срубной общностью Урало-Поволжья (Васильева, Салугина, 2010).

Однако приспособительные традиции, выделенные по трем сосудам (на материке, погр. 2, погр. 3), указывают на начавшийся процесс взаимодействий с носителями алакульских гончарных стереотипов. К привнесенным технологическим новациям могут быть отнесены приемы созидательной и закрепительной стадий, приводящие к возникновению однотонного темно-серого и черного цвета сосудов, лощение поверхности и использование тальковой дресвы в качестве непластичного исходного сырья (Ломан, 1995).

Список литературы

Археологическая карта Башкирии. М.: Наука, 1976.

Ахтарянова Д. И. Научный отчет о разведочных археологических исследованиях в южной части Баймакского района Республики Башкортостан в 2004 году // Архив ГБУК НПЦ МК РБ. Уфа, 2005.

Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978.

Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: [колл. моногр.]. Самара: СамГПУ, 1999. С. 5–109.

Васильева И. Н., Салугина Н. П. Некоторые итоги изучения древнего и средневекового гончарства // 40 лет средневолжской археологической экспедиции. Краеведческие записки. Самара: Офорт, 2010. Вып. XV. С. 135–152.

Ломан В. Г. Андроновское гончарство: общие приемы изготовления сосудов // Культуры древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала. Челябинск, 1995. С. 97–100.

Мухаметдинов В. И., научный сотрудник.
Башкирский государственный университет.
Ул. Заки Валиди, 32, Уфа, Россия, 450076.
E-mail: vadimufa@rambler.ru

Бахшиев И. И., кандидат исторических наук, зав. отделом.
Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева
Уфимского научного центра РАН.
Ул. К. Маркса, 6, Уфа, Россия, 450077.
E-mail: ibahsh@gmail.com

Материал поступил 03.03.2016

Mukhametdinov V. I., Bakhshiev I. I.

TECHNICAL-TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF CERAMICS FROM THE «JULALY-8» KURGAN [BARROW] BURIAL SITE IN THE BASHKIR TRANS-URAL

Subject to introduction into a scientific circulation being new data on methods of pottery production of the Srubnaya and Srubnaya-and-Alakul culture, basing on materials from the barrow [kurgan] 3 of the «Julaly-8» barrow burial in Bashkir Trans-Ural. Resulting from a technical-and-technological analysis of the pottery, subject to a description being traditions of selection and preparation of the initial plastic raw material, making of molding compound, pots molding, surface treatment of articles, and kilning.

Key words: *Bashkir Trans-Ural, late Bronze Age, technical and technological pottery analysis, pottery reconstruction.*

References

Arkheologicheskaya karta Bashkirii [Archaeological map of Bashkortostan]. Moscow, Nauka Publ., 1976. (in Russian).
Akhtaryanova D. I. Nauchnyy otchet o razvedochnykh arkheologicheskikh issledovaniyakh v yuzhnoy chasti Baymakskogo rayona Respubliki Bashkortostan v 2004 godu [Scientific report of exploring archaeological researches in the south of Baymaksky District of the republic of Bashkortostan in 2004]. *Arkhiv GBUK NPC MK RB*. Ufa, 2005. (in Russian).
Bobrinskiy A. A. Goncharstvo Vostochnoy Evropy. Istochniki i metody izucheniya [Pottery of Eastern Europe. Sources and methods of studying]. Moscow, Nauka Publ., 1978. (in Russian).
Bobrinskiy A. A. Goncharnaya tehnologiya kak ob'ekt istoriko-kul'turnogo izucheniya [Pottery technology as an object of historical-and-cultural studying]. *Aktual'nye problemy izucheniya drevnego goncharstva*. Samara, SamGPU Publ., 1999. Pp. 5–109 (in Russian).
Vasil'eva I. N., Salugina N. P. Nekotorye itogi izucheniya drevnego i srednevekovogo goncharstva [Some results of studying ancient and medieval pottery]. *40 let srednevolzhskoy arheologicheskoy ekspedicii. Kraevedcheskie zapiski*. Samara, Ofort Publ., 2010. N XV. Pp. 135–152 (in Russian).
Loman V. G. Andronovskoe goncharstvo: obshchie priemy izgotovleniya sosudov [Pottery of Andronovo culture: common methods of making pots]. *Kul'tury drevnikh narodov stepnoy Evrazii i fenomen protogorodskoy civilizacii Juzhnogo Urala*. Cheljabinsk, 1995. Pp. 97–100 (in Russian).

Mukhametdinov V. I.
Bashkir State University.
Ul. Zaki Validi, 32, Ufa, Russia, 450076.
E-mail: vadimufa4@rambler.ru

Bakhshiev I. I.
R. G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies, Ufa Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences.
Ul. Karla Marksa, Ufa, Russia, 450077.
E-mail: ibahsh@gmail.com

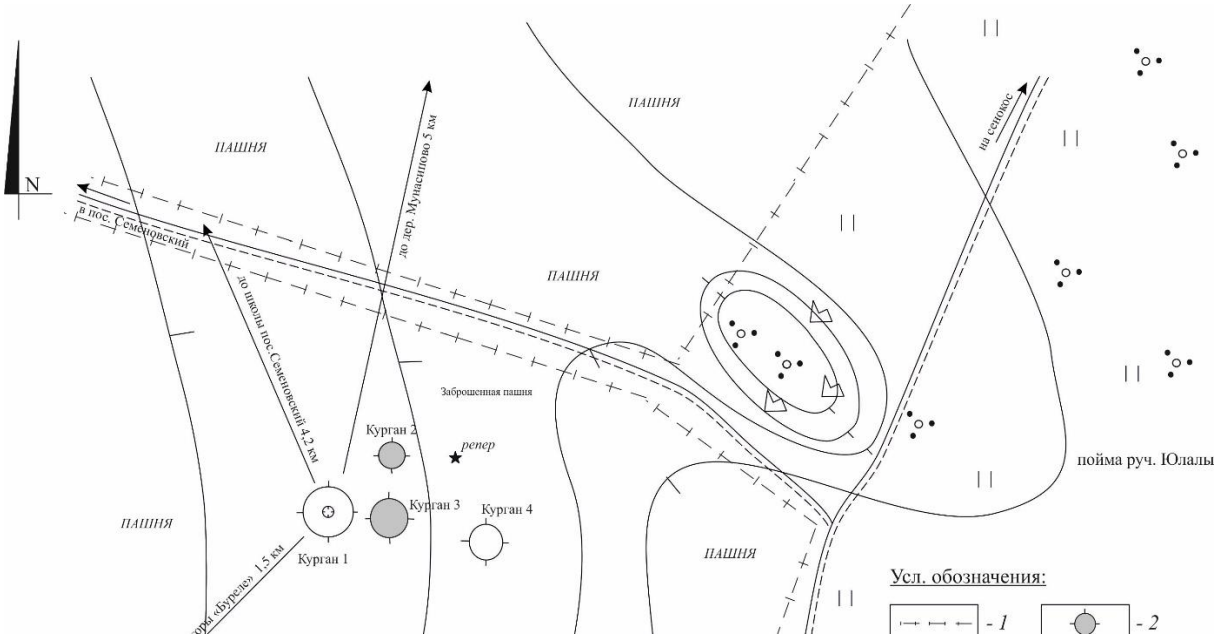


Рис. 1. Республика Башкортостан, Баймакский район, пос. Семеновский.
Общий план КМ «Юлалы-8». *1* – границы природных зон; *2* – исследованные курганы; *3* – скальный выход; *4* – мелкий кустарник; *5* – луг

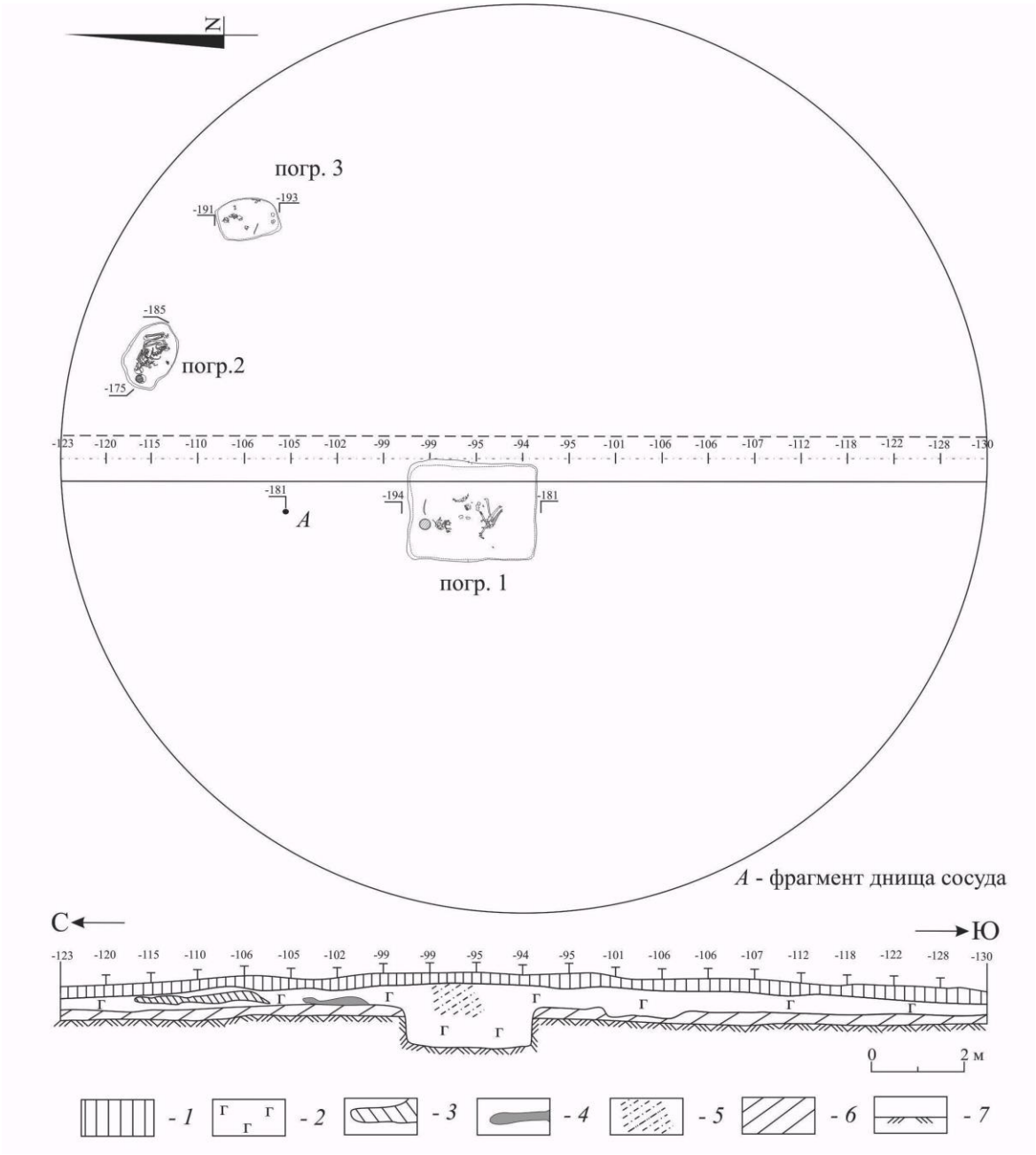


Рис. 2. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Общий план выявленных погребальных комплексов и центральный профиль курганной насыпи.
1 – пахотный слой (мелкозернистый сыпучий чернозем темно-серого цвета); *2* – насыпь кургана (плотный, среднекомковатый грунт темно-серого цвета испещренный норами землеройных животных); *3* – прослойка рыхлого, среднекомковатого, белесого серозема с незначительными золистыми включением; *4* – материковый выкид из могильной ямы (погребение 1); *5* – мелкозернистая, пористая, рыхлая светло-серая супесь с выраженными границами в слое курганной насыпи; *6* – погребенная почва – плотная, крупнокомковатая, сильно нарушенная супесь осветленная за счет значительных включений затеков материкового грунта (переход от слоя погребенной почвы к курганной насыпи слабовыраженный); *7* – материковый грунт (суглинок светло-желтого цвета с незначительным включением мелкого щебня)

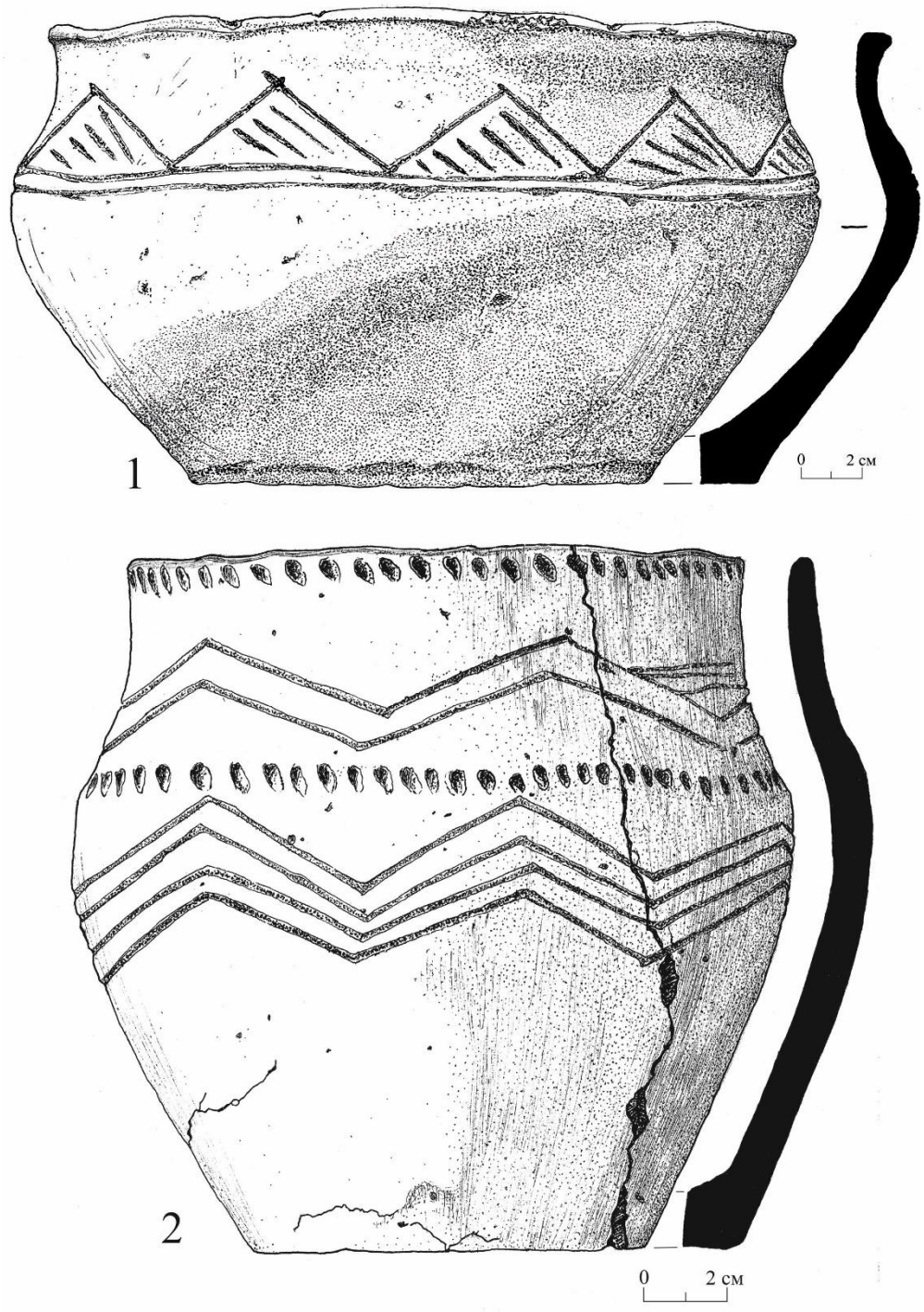


Рис. 3. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Сосуды из погребений.
1 – погребение 1; *2* – погребение 2

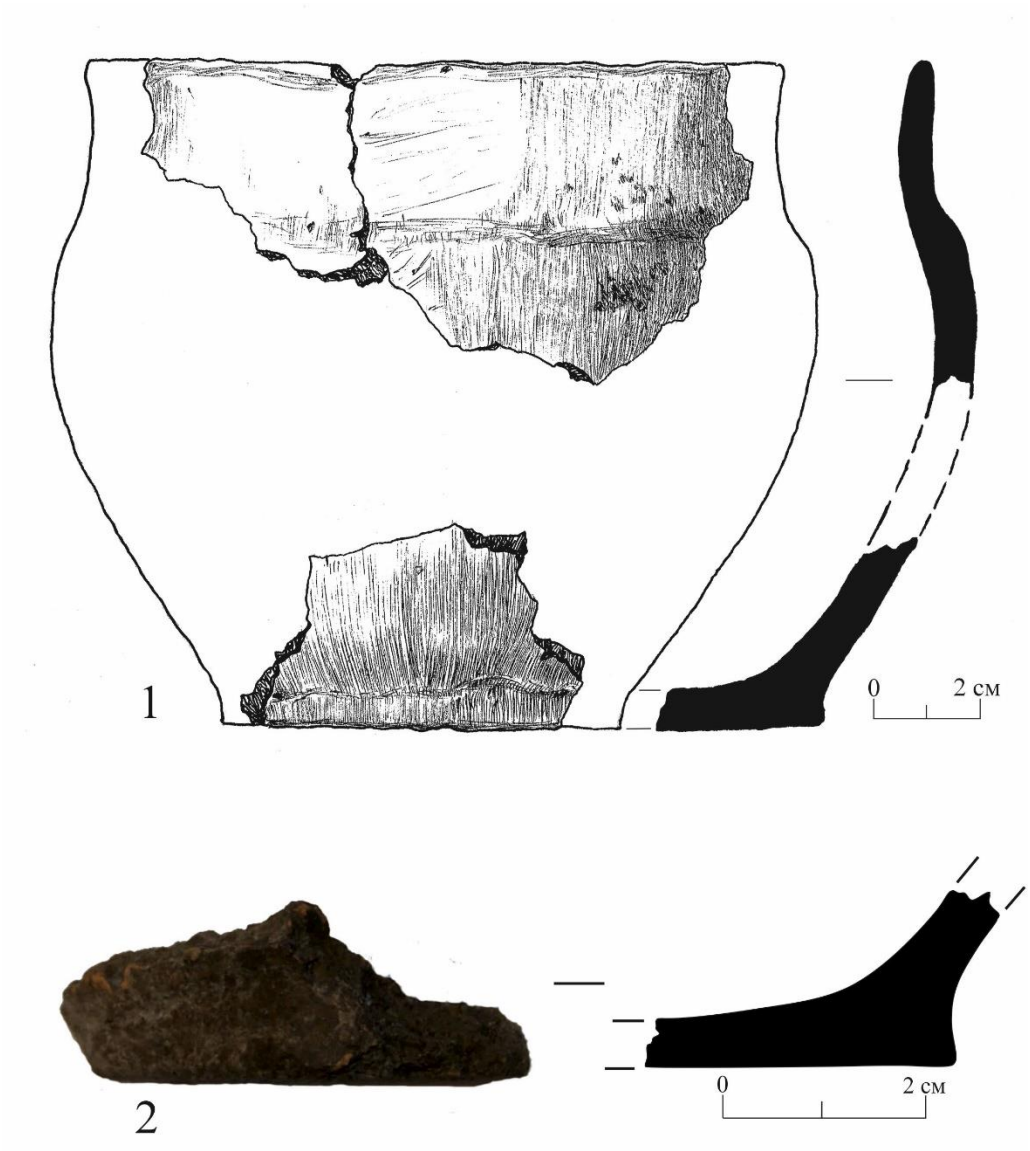


Рис. 4. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. *1* – погребение 3 (неполный развал сосуда – графическая реконструкция); *2* – западный сектор (уровень материкового грунта (–181) днище сосуда)

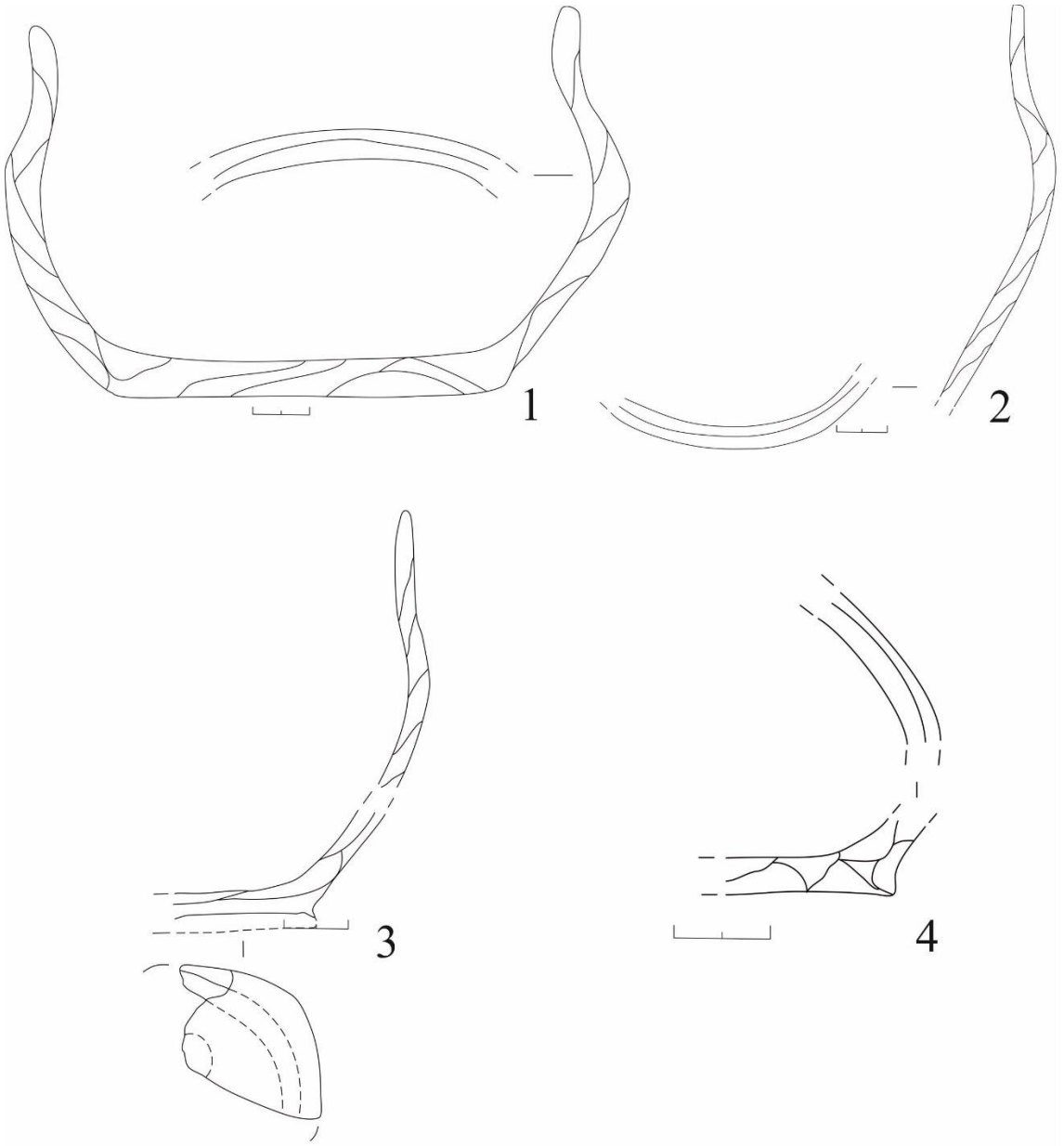


Рис. 5. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Схема расположения спаев между конструктивными элементами. *1* – погребение 1; *2* – погребение 2; *3* – погребение 3; *4* – днище (уровень материкового грунта)

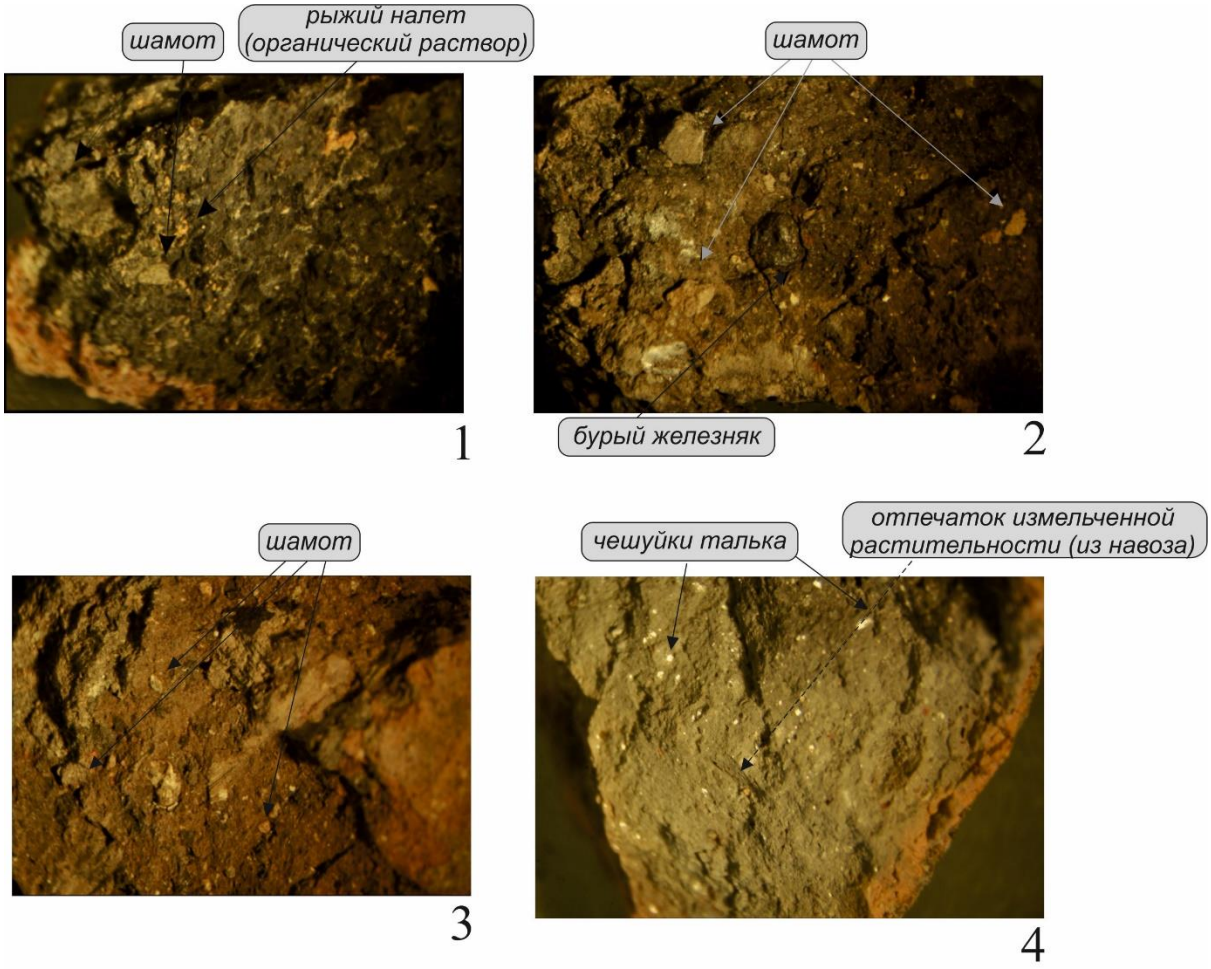


Рис. 6. КМ «Юлалы-8». Курган № 3. Макрофотографии изломов. *1* – погребение 1; *2* – погребение 2; *3* – погребение 3; *4* – днище (уровень материкового грунта)

НАШИ АВТОРЫ

Александров О. А. – *доцент*
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, 634050

Александрова А. А. – *магистрант*
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061

Арбачакова Л. Н. – *кандидат филологических наук, старший научный сотрудник*
Институт филологии. Сибирское отделение Российской академии наук
Ул. Николаева, 8, Новосибирск, Россия, 630090
E-mail: anzass@mail.ru

Бахшиев И. И. *кандидат исторических наук, зав. отделом*
Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева
Уфимского научного центра РАН
Ул. К. Маркса, 6, Уфа, Россия, 450077
E-mail: ibahsh@gmail.com

Бурнаков В. А. – *кандидат исторических наук, старший научный сотрудник*
Институт археологии и этнографии СО РАН
Новосибирский государственный университет
Пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, Россия, 630090
E-mail: venariy@ngs.ru

Каксин А. Д. – *кандидат филологических наук, доцент*
Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии им. Н. Ф. Катанова
Хакасского государственного университета
Хакасский исследовательский институт языка. Литературы и истории
Ул. Ленина, 90, Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017
E-mail: adkaksin@yandex.ru

Карпина Е. В. – *кандидат филологических наук, доцент*
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия. 101000
E-mail: elenaespan@hotmail.com

Кобенко Ю. В. – *доктор филологических наук, доцент, профессор*
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет. Энергетический институт
Пр. Ленина 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: serpentis@list.ru

Мухаметдинов В. И. – *научный сотрудник*
Башкирский государственный университет
Ул. Заки Валиди, 32, Уфа, Россия, 450076
E-mail: vadimufa@rambler.ru

Рудковский И. В. – *кандидат исторических наук*
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E- mail: lemke2@yandex.ru

Чертыкова М. Д. – *кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник*
Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии им. Н. Ф. Катанова
Хакасского государственного университета
Ул. Ленина, 90, Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017
E-mail: chertikova@yandex.ru

Шерстова Л. И. – *доктор исторических наук, профессор*
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
E-mail: sherstova58@mail.ru

AUTHORS

Alexandrov O. A. – *Dr., Associate Professor*
Head of the Department of Foreign Language
National Research Tomsk Polytechnic University
Ul. Lenina 30, Tomsk, Russia, 634050

Alexandrova A. A. – *Master student*
Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061

Arbachakova L. N. – *Institute of Philology. Siberian Division of the Russian Academy of Sciences*
Ul. Nikolaeva, 8, Novosibirsk, Russia, 630090
E-mail: anzass@mail.ru

Bakhshiev I. I. *R. G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies, Ufa Scientific Centre*
of the Russian Academy of Sciences
Ul. Karla Marksa, Ufa, Russia, 450077
E-mail: ibahsh@gmail.com

Burnakov V. A. – *Department of Ethnography Institute of Archaeology and Ethnography*
of the Russian Academy of Sciences
Humanities Research Novosibirsk State University
Pr. Academica Lavrentieva, 17, Novosibirsk, Russia, 630090
E-mail: venariy@ngs.ru

Kaksin A. D. – *Institute of Humanitarian Researches and the Sayan-Altay Turkology*
of the Katanov Khakass State University
Khakass Research Institute of Language, Literature and History
Ul. Lenina, 90, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017
E-mail: adkaksin@yandex.ru

Karpina E. V. – *Department of Foreign Languages*
National Research University Higher School of Economy
Ul. Myasnitskaya, 20, Moscow, Russia, 101000
E-mail: elenaespan@hatmail.com

Kobenko Yu. V. – *National Research Tomsk Polytechnic University*
Department of Foreign Languages
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: serpentis@list.ru

Mukhametdinov V. I. – *Bashkir State University*
Ul. Zaki Validi, 32, Ufa, Russia, 450076
E-mail: vadimufa4@rambler.ru

Rudkovsky I.V. – *Tomsk State Pedagogical University*
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E- mail: lemke2@yandex.ru

Chertykova M. D. – *Institute of Humanitarian Researches and the Sayan-Altai Turkology*
of Katanov Khakass State University
Ul. Lenina, 90, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017
E-mail: chertikova@yandex.ru

Sherstova L. I. – *National Research Tomsk State University*
St. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: sherstova58@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ В «ТОМСКОМ ЖУРНАЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Материалы журнала направляются по электронной почте по адресу: **tjla@tspu.edu.ru**. Необходимо предоставить файлы с публикацией в двух форматах (docx/doc и pdf).

Для статей на русском языке:

– 1-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объёмом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы, место работы (учёбы), учёная степень, учёное звание, должность, e-mail;

– 2-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объем – 1 страница), ключевые слова, место работы (учёбы).

Для статей на английском языке:

– 1-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объёмом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы, место работы (учёбы), учёная степень, учёное звание, должность, e-mail;

– 2-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объем – 1 страница), ключевые слова, место работы (учёбы).

Для статей на немецком языке:

– 1-й файл (на немецком языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объёмом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы, место работы (учёбы), учёная степень, учёное звание, должность, e-mail;

– 2-й файл (на русском языке или английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация статьи (объём – 1 страница), ключевые слова, место работы (учёбы).

Текст статьи объёмом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен в формате DOCX/DOC и PDF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см со всех сторон.

Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи по алфавиту (русскоязычные источники сопровождаются транслитерацией). Ссылки на цитируемые источники приводятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136).

REQUIREMENTS FOR THE SUBMISSION TO THE "TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY"

Submissions for publication are accepted electronically in two formats (MS.DOC and Adobe.PDF) at **tjla@tspu.edu.ru**

For the submissions in Russian:

– the first file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 1 page), keywords, work address of the author(s).

For the submissions in English:

– the first file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 1 page), keywords, work address of the author(s).

For the submissions in German:

– the first file in German: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in Russian or English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 1 page), keywords, work address of the author(s).

The volume of the submission generally should not exceed 16 A4 pages (including Bibliography, Graphs, Tables, etc) and has to be formatted (Times New Roman, 14 pt, line spacing 1,5, all margins 2 cm), and saved as MS.DOC and Adobe.PDF files. Graphs, Figures are to be either in JPEG or TIFF formats, while Diagrams maybe in MS Excel format, all submitted as separate attached files.

Cited bibliography and sources are to be listed alphabetically (Russian sources are accompanied by transliteration). References in the text are to show in Parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)).